UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 00306617 2

IAkubovich, Petr Filippovich
N.A. Nekrasov

PG
3337
N4Z653

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ.
(РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ).

Н. А. НЕКРАСОВ

ЕГО ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

КРИТИКО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Л. Мельшина (П. Ф. Якубовича).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО.
Авт. Тат. Сов. Соц. Республики.
Казань, 1922 г.

Akubovich, Petr Filippovich

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ.

(Русские писатели).

N. A. Nekrasov

Н. А. НЕКРАСОВ

Его жизнь и литературная деятельность.

КРИТИКО-БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
Л. Мельшина (П. Ф. Якубовича).

Издательство „МОЛОДЫЕ СИЛЫ".
КАЗАНЬ.—1922 г.

OCT 6 1971
UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARY

1-я Государственная Типография.

Р. В. Ц. Тираж 10 000 экз. Гиз. № 644 и 875.

PG
3337
N4 Z653

Неудачный литературный дебют.

25 июля 1839 года петербургский цензор Фрейганг подписал к выпуску в свет тетрадь стихотворений, имевших общий заголовок „Мечты и звуки". Автору их было всего лишь 17 лет от роду, хотя перед тем он успел уже напечатать, за полной своей подписью—Н. Некрасов, целый ряд стихотворений в „Сыне Отечества", в „Литературной Газете„ и в „Прибавлениях к Инвалиду". Некоторые из этих юношеских опытов даже обратили на себя внимание любителей поэзии.

После цензурного разрешения можно было приступить к печатанию книги, но как рассказывал впоследствии сам Некрасов, им овладели тревожные сомнения, и он решил показать раньше свою рукопись признанному королю тогдашних поэтов—Жуковскому. Последний отнесся к юному собрату с теплым сочувствием, увидав в его стихах несомненные задатки поэтического дарования,—однако, печатать книгу не советовал. К сожалению, было уже поздно: среди знакомых Некрасова была открыта на сборник его стихов подписка, и часть полученных от нее денег израсходована.

—В таком случае, —сказал Жуковский,—не выставляйте, по крайней мере, полного вашего имени на книге. Ограничьтесь инициалами.

Совет этот Некрасов принял к сведению, и в начале следующего года „Мечты и звуки" явились в свет за скромной подписью Н. Н.

Книг выходило в те времена, сравнительно, немного, и круг вопросов, которых журналы имели право касаться, был до чрезвычайности узок; почти о каждой напечатанной книжке, как бы ничтожно ни было ее значение, непременно появлялись, поэтому, более или менее пространные рецензии. „Мечты и звуки" Некрасова не составили исключения из общего правила и вызвали целую кучу отзывов: в „Литерат. Газете", в „Отечеств. Записках", в „Современнике", в „Сев. Пчеле", даже в „Русском Инвалиде" и в „Журн. Мин. Нар. Прос-

вещения" (из видных органов промолчал, кажется, один только „Сын Отечества" Полевого, быть может потому, что на его страницах Некрасов по преимуществу печатал свои стихи). В „Журн. М. Н. Пр." стихотворец Менцов, очевидно знавший о возрасте автора „Мечтаний и звуков", дал один из наиболее сочувственных отзывов: рецензент исходил из того мнения, что при разборе сочинений столь юного поэта задача критики не в определении их литературной ценности и значения, а лишь в решении вопроса—есть ли у поэта признаки таланта, обещает ли он в будущем создать произведения, достойные внимания и памяти „И потому да не дивятся читатели,—замечал Менцов,—если мы будем судить г. Некрасова (критик считал возможным разоблачить инициалы) снисходительнее, нежели, может быть, следовало бы: похвалами умеренными и справедливыми мы имеем целью ободрить его прекрасный талант и поощрить к дальнейшим трудам в пользу отечественной словесности". Далее рецензент осыпал похвалами отдельные пьесы сборника, защищал юного автора от возможных упреков в подражательности и, в заключение, предрекал Некрасову завидную известность и почетное место в истории русской литературы, под тем, впрочем, условием, если он будет „развивать свое природное дарование изучением творений поэтов, признанных великими от всего просвещенного мира, и чтением лучших Теорий Изящного".

Такою же мягкостью проникнута была и коротенькая заметка, „Современника", написанная, вероятно, самим Плещеевым.

> Здесь не только *мечты и звуки*, как выразился поэт, но и мысли, и чувства, и картины. Книжка, заключающая в себе почти одни лирические стихотворения, исполнена разнообразия. В каждой пьесе чувствуется создание мыслящего ума или воображения. Наша эпоха так скудна хорошими стихотворениями, что на подобные явления смотришь с особенным удовлетворением. У г. Н. Н. заметна только некоторая небрежность в отделке стихотворений.

Плетнев, несомненно, тоже хорошо знал, кто скрывается под таинственными инициалами; но автор третьей рецензии, помещенной в „Сев. Пчеле", прямо заявляет, что имя поэта ему „вовсе неизвестно", что оно „кажется, в первый раз является в нашей литературе". И, тем не менее, подобно „Журналу М. Н. П.", рецензент „Сев. Пчелы" начинает с положения, что снисходительность—одно из главных условий критики, имеющей перед

собою первые опыты юношеского пера, особенно когда в них приметно дарование, которое впоследствии может развернуться; дарование же Н. Н., по мнению критика, не подлежит никакому сомнению и возбуждает самые приятные надежды. Как и Менцов, он ставит лишь на вид юному поэту необходимость „образовать свой талант долгим изучением искусства и безпрерывным наблюдением за самим собою".

Далеко не так легко и снисходительно отнесся к „Мечтам и звукам" анонимный критик „Литерат. Газеты" (где Некрасов не раз помещал перед тем свои стихи), а равно и Белинский в „Отеч. Записках". Оба отзыва до того сходны по мыслям, по тону и самому слогу, что и в первом из них можно было бы заподозрить перо Белинского (тем более, что последний сотрудничал и в „Литерат. Газете"), если бы не существовало прямых указаний на принадлежность этой рецензии Галахову.

„Особенность подобных г-ну Н. Н. поэтов и писателей вообще,— говорилось в рецензии,—заключается в том, что они *суть нечто* до тех пор, пока не издадут полного собрания своих сочинений: тогда они становятся *ничто*". „Название *Мечты и звуки* совершенно характеризует стихотворения г. Н. Н.: это не поэтические создания, а *мечты* молодого человека, владеющего стихом и производящего звуки правильные, стройные, но не поэтические".

Почти то же и почти в тех же выражениях высказал и Белинский в „Отеч. Зап." Если проза может еще удовлетворяться гладкой формой и банальным содержанием, то „стихи решительно не терпят посредственности". Читая такие стихи, вы чувствуете иногда, что автор их человек, несомненно, благородный и искренний, но в то же время видите, что эти благородные чувства „так и остались в авторе, а в стихи перешли только отвлеченные мысли, общие места, правильность, гладкость и скука. Душа и чувство есть необходимое условие поэзии, но не ими все оканчивается: нужна еще творческая фантазия, способность вне себя осуществить внутренний мир своих ощущений и идей и выводить во вне внутренние видения своего духа" —„Прочесть книгу стихов, встретить в них все знакомые и истертые чувствованьица, общие места, гладкие стишки и много-много, если наткнуться иногда на стих, вышедший из души в куче рифмованных строчек,—воля ваша, это чтение или, лучше сказать, работа для рецензентов, а не для публики, для которой довольно прочесть о них в журнале известие, вроде: выехал в Ростов."

Мы потому с такой подробностью остановились на шуме, вызванном в литературе первым поэтическим выходом Некра-

сова, что шум этот, несомненно, оказал большое и существенное влияние на дальнейшую судьбу поэта. Авторитетный отзыв Белинского, высказанный в марте месяце 1840 г., сразу заглушил все сочувственные голоса, и о „Мечтах и звуках" установилось с тех пор прочное мнение, как о книжке стихов, до последней степени ничтожных и бесталанных.

Интерес книжки в том,—читаем в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона (в статье С. А. Венгерова),—что мы здесь видим Некрасова в сфере совершенно ему чуждой, в роли сочинителя баллад с разными страшными заглавиями, вроде „Злой дух", „Ангел смерти", „Ворон" и т. п. „Мечты и звуки" характерны не тем, что являются собранием плохих стихотворений Некрасова и как бы *низшей* стадией в творчестве его, а тем, что они *никакой стадии* (курсив словаря) в развитии таланта Н. собою не представляют. Некрасов, автор книжки „Мечты и звуки", и Некрасов позднейший—это два полюса, которых нет возможности слить в одном творческом образе.

На самого поэта приговор Белинского и Галахова подействовал, между тем, самым угнетающим образом: с этого, по крайней мере, момента,—как будто уверившись в своей поэтической бездарности,—он в продолжение нескольких лет пишет стихи только юмористического характера, главным же образом—пытает силы в области прозы. Как известно, в роли беллетриста и критика Некрасов далеко не пошел, и в смысле непосредственной ценности литературное творчество его за пятилетие 1840—44 является совершенно бесплодным. Другое дело—незримая, подспудная, так сказать, работа таланта, когда, сдерживаемый насильно в известных рамках, он судорожно бился в поисках своей настоящей дороги: в таком смысле и указанные годы имели, конечно, огромное значение для определения основного характера некрасовской поэзии. Об этом, впрочем, ниже; теперь же остановимся на минуту на возникающем невольно вопросе: насколько был прав или неправ Белинский в суровом осуждении первых поэтических опытов Некрасова? И верно ли держащееся до сих пор мнение, будто опыты эти не стоят решительно ни в какой связи с позднейшим обликом „музы мести и печали"?

Взятая сама по себе, книжка „Мечты и звуки", несомненно очень слаба, так что у Белинского (к тому же, только что переехавшего из Москвы в Петербург и не подозревавшего, что Некрасов еще так зелен) было очень мало данных для того, чтобы отнестись к ней как-нибудь иначе. Другое дело—критика наших дней. Для нас „Мечты и звуки",—если бы это была и

действительно вполне бездарная в художественном отношении книга,—имеют интерес совершенно особого рода: это—первый опыт поэта с могучими поэтическими силами, и крайне любопытно знать, нет ли в этом опыте, хотя бы и в зародышевом виде, элементов того настроения, которое так ярко сказалось в его позднейшем творчестве. Подходя к вопросу с такой точки зрения, рассматривая „Мечты и звуки" с высоты почти 70 лет, мы должны признать чрезмерно суровым приведенный выше отзыв С. А. Венгерова. Правда это, нельзя сказать, что и „Мечтах и звуках" Некрасов является в роли сочинителя страшных баллад, так как баллад этих (не по заглавию только страшных) в книжке ничтожное меньшинство, всего 2—3 из общего числа 14 пьес; а затем нужно заметить, что уже сама нелепость содержания и примитивность формы обличают их принадлежность к наиболее ранней, отрешенной периоду творчества Некрасова. Со слов сестры поэта известно, что, поехав в 16-ти летним мальчиком в отцовский дом, он увез с собою толстую тетрадь с *детскими* стихотворными упражнениями („эта славой я в столицу горопшел"—вспоминал он по поводу этого). Это было 20 июля 1838 года, а в сентябрьской книжке „Сына Отечества" за тот же год стихи Некрасова уже стали печататься.

Позволительно также предположить, что молодой поэт, уже сумевший перед тем напечатать полуграмотное стихотворение „Жизнь", и помещал-то эти баллады в свой сборник единственно ради внешнего его округления, и боль колет, и ради умилостивления безмерно строгой тогда цензуры. Следы не властной руки можно видеть в этом сборнике не в виде только разбросанных там и сям точек. Так, в стихотворении „Поэзия" читаем:

Я владею чудным даром,
Много власти у меня,
Я взволную грудь пожаром,
Брошу в холод из огня,
Разорву покровы ночи,
Тьму веков рассеку,
Проникать земные очи
В мир надзвездный я могу.
Вопрошу всевластный разум
На достойную хулу,
Или в мир зажгу я сказки
Сновидения души.

Не надо обладать особенной проницательностью, чтобы догадаться, что последний стих в первоначальном виде был та-

тался, по всей вероятности: *„Я носитель света“*, и что по чатной своей исполнительности он обязан внимательности цензора Фрейганга, которому всякий „конец“ (хотя бы то был конец Нерона) казался чем-то непримиримым. Быть может, об этой весьма остроумной цензорской поправке вспоминал Некрасов двадцать пять лет спустя, когда в уста не в меру ревнивого стража печати вкладывал следующее признание:

Да! меня не коснутся упреки,
Что я платы за труд все копил,
Оставляя и стрелочны и строки,
Только предлог мысль исключал.
Если ты написал «Радостно
Губернатора встретил народ»,
Исключу я три буквы: „Р-адостно“
Выйдет... Что же? Три буквы не счет! *)

Если, за одно со „страшными“ балладами, выключить из сборника и некоторое количество просто бесцветных и бессодержательных детских стишков, вроде „Турчанки“ (у которой кудри—„воронова перья, черны, как гений сусерья, как скрытой будущности даль“), или „Ночи“ („Ах туда, туда, туда—к этой звездочке унылой чародейственною силой занесен меня, мечта!“), то большинство пьес книги окажется проникнуто весьма определенным взглядом на жизнь, на достоинство и призвание человека, поэта в особенности,—взглядом, который ни в коем случае нельзя назвать „полюсом, противоположным“ позднейшей некрасовской поэзии.

Вот, напр., диалог, в котором душа, в ответ на соблазны тела, гордо заявляет:

Прочь, насущный! Не напрасно
Бессмертьем я отвещена!
. . . . . .
И хоть однажды, грех бесславный,
Ты мне уступишь торжество!

В другом стихотворении великолепный некогда, а теперь разрушенный Колизей находит утешение в мысли, что хотя он и

*) Тургенев вспоминает: „Особенно комически играл в нем эр Ф., тот самый, который говаривал: „Помилуйте, я все буквы читать, только дух новый давлю“. Он мне сказал однажды, с чувством глядя в глаза: „Вы хотите, чтоб я не выкручивал? Но согласитесь сами: я не выкручиваю—я могу кончиться 3.000 р. в год, а выкручивая—новую от этого самая печаль! Были словечки, вот словечки... Ну, а дальше? Как же нас не вырезать? Бог с вами!“ („Литерат. и жит. воспом.“)—Очевидно, Тургенев имел в виду того же Фрейганга.

погиб, но уже много столетий стоит, не обрызганный живой человеческой кровью. Или—стихотворение „Мысль“:

Спит дряхлый мир, спит старец обветшалый...
. . . . . .
Сквозь безобразье наготы
Опять под мрачной маской нети
Поддельным блеском красоты
Ты не мои обманешь очи.

Все это выражено, правда, по детски, в вялых и подчас аляповатых стихах; однако, сквозит во всем этом серьезное, вдумчивое отношение к жизни; уже и здесь перед нами не просто лишь созерцательная поэтическая натура, непосредственно и безразлично отдающаяся «всем впечатленьям бытия», а мыслящая душа, предъявляющая к жизни свои требования и запросы.

Вот какие негодующие строки находим, напр., в стих „Жизнь“:

Из тихой вечери молитв и вдохновений
Разгульной оргией мы сделали тебя
(т. е.—жизнь),
И гибельно царит над нами ложь гений,
Еще в зародыше все доброе губя.
Себялюбивое, корыстное возмездье
Обуревает нас, блаженства ищем мы,
А к пропасти ведет порок и заблужденье
Святою верою нетвердые умы
Позорные рабы греха, мы не рабы Христовы;
Нам тяжек вретт скорбей, даруемый судьбой;
Мы не умеем жить, мы сами на оковы
Меняем все дары свободы золотой
. . . . . Нет сил нам не нужны:
Не сделав ничего, спешим мы отдохнуть:
Мы любим лишь себя, нам дружно—оковы,
И только для страстей открыта наша грудь.
И что же, что они нам приносят?
Презрительно смеясь над слабостью земной,
С ленивою душой нам вражду в сердце сеят
И сами же зовут нас нечистотой!
За наслажденьями, но их дорогой ценой,
Стеня, мы вдем и ловим только тень:
Терзают нашу грудь, как коршун хищный,
Гнетущий скорбью, безотрадно жизнь.
И после бурного, опустошенного бытия,
И чистый жар души, и здесь погас,
Мы с тайным ужасом глядим в могилу,
Пугаемые ее суровою тоской!

Стихи эти, правда, слишком явно напоминают страстным обви

вопиом, которое великий поэт бросал [illegible] лишь русскому обществу („Дума" Лермонтова относится в лит. отчете „Отчет. Зап." того же 39 года, т. е. за полгода всего до цензурного разрешения „Мертвый и живой"), и, тем не менее, всегда отрадно, что в „Живом" Некрасова слышится и оригинальная нота, искренний религиозный пафос: некоторые стихи не лишены и известной красоты и силы выражения. Во всяком случае, так может „полжизнь" только по поводу 17-летний стихотворец.

Самую высокую поэтическую ноту юный Некрасов поднимает в возвышенном, почти экзальтированном стихе:

Кто душой слаб и трусливо пуглив,
Ударов жребия избегнуть рад,
Бесстрашно отразить в себе страдальца силы нет,
Кто у него вопросы вымолит,
Кто перед ним всю ложь преложит,
Тот не поэт!

Кто знал свой [illegible]
Не в [illegible]
Но, вовсе так в [illegible]
Пошел, как раб, по [illegible]
Кто слезы лил и [illegible]
И пропевал [illegible]
И не [illegible]
Тот не поэт!

На Божий мир кто смотрит без [illegible]
Кто в [illegible]
Кто пред [illegible]
С [illegible]
Кто у [illegible]
Не пролил слез, [illegible]
Кто продает себя [illegible]
Тот не поэт!

Любви святой, высокой, благородной
Кто не носил в груди своей огня,
Кто на порок презрительный, холодный
Сменил любовь, святыни не хранил;
Кто не горел в горячке вдохновенной,
Кто их искал в кругу мирских сует,
С кем не беседовал в часы ночные тайн —
Тот не поэт!

Не думаем, чтобы эти мысли были плодом одного только подражания романтической школе: в значительной степени это искренние юношеские мечты [illegible] Из другого стихотворения („Изгнанник") мы узнаем, что уже рано действи-

тельность грубою рукою прикоснулась к светлым мечтаниям поэта, и он „очутился на земле".

Ты осужден печать изгнанья
И сеть до гроба на челе,—

сказал ему тогда таинственный голос:

Ты осужден цепи страданья
Купить в стране отчизной
Рай недоступный на земле!

И поэт не теряет бодрости; он даже полюбил свой крест:

Теперь отрадно мне страдать,
Нежданно жаркой благодати
Невольно чую в теле отрыв!

За туманно-романтической формой, как будто, чуется здесь и нечто автобиографическое (печальное детство; разрыв с отцом, бросивший юношу-поэта почти нищим на мостовую большого города) как-будто слышится вера поэта, пронесший уверенность, что, и „очутившись на земле" он не утратил стремление к идеалу: хоть бы „цепью страданья", он придет все же в обетованную землю!

Красавица не пой веселых песен мне!
Они печальны в устах прекрасной девы
Но больше я люблю печальные напевы...—

читаем в другой пьесе, интересный в том отношении, что здесь впервые выступает образ матери Некрасова, воспетый им позже в таких чудных трогательных стихах. Умный малец,—объясняет поэт,—в особенности мил ему потому,

Что в первый жизни год родился с тоской
Сказался им порыв ребяческого гнева,
Качая колыбель заботливой рукой;
Что в годы бурь и лет кипучую молитвой
На том же языке молилась за меня;
Что, побежден житейской битвой,
Во власть ей отдался и плачи и стеня..

Следует еще отметить полную глубокой религиозности, характеризующей сборник „Мечты и звуки". В каждом почти стихотворении встречаем упоминание о Боге, о молитве, о необходимости „путь к знаниям верой осветить," и „разлюбить родного сына за отступление от Творца". Дух сомнения представляется Некрасову злым духом, и он советует не верить сердца „его всегда недоброму наущению".

Порыв души в избытке бурных сил.
Святой восторг при виде за творенье,

Разлах мечты в полете вольных крыл,
И юных дум живучие порывы
И юных чувств не окрепший пыл —
Все отразит печальное сознанье!

Напомним еще раз читателю, с какой точки зрения оценивали мы „Мечты и звуки", рекомендуя теперь наше общее впечатление. Книжка эта является, по нашему мнению, не столь продуктом сознательного литературного подражания романтической школе, сколько — зеркалом довольно неопытной и наивной, но глубоко-искренней, религиозно и поэтически настроенной юной души. Слабые в художественном отношении, стихи эти обнаруживают, тем не менее, богатый запас нетронутой душевной силы и свежего чувства. Позднейшему, знаменитому Некрасову, — кроме плохой формы, — положительно нечего в них стыдиться: по аллегорически-повышенному настроению своему „Мечты и звуки" являются именно подготовительной, „низшей стадией" его творчества, откуда не звучащей в нем диссонансом. И нам кажется, что знакомство с этой детской книжкой Некрасова должно, как-будто менее странным фактом „внезапного", как обыкновенно думают, превращения посредственного рассказчика и куплетиста в первостепенного лирика.

Отметим, в заключение, одну любопытную черту, касающуюся внешней формы стихов сборника „Мечты и звуки". Оказывается, что уже в эту раннюю пору Некрасов не питал такого исключительного пристрастия к „ять", как Пушкин и поэты его школы: из 44 пьес сборника шестью написаны „ять половина, другим половина — с „ерами" (твердым знаком и хером нет только последнего любимого Некрасовым знака). Встречается уже и столь характерное для позднейшего Некрасова трехсложное рифмование:

Мало ли чего мне благодатную
Радости сладкой дало.
Холодом сердца, мне в душу туманную,
Ночью и днем отлетало.
В свете ли шумной, вдали ли от зависти,
Всюду одна я грущу...

Довольно часты и все разновидности рифмы, которыми поэт и впоследствии так богатых: „буду — минуту", „слепо — небо", „брега — берега" и т. п.

II.

Грустное детство. Мать и отец.—Удаление из гимназии.

Кто же был этот юный идеалист, потерпевший такое жестокое крушение при первой же попытке выйти в тревожненное литературное море?

Николай Алексеевич Некрасов родился 22 ноября 1821 года в каком-то заходустном местечке Винницкого уезда Подольской губернии, где квартировал полк его отца, поручика Алексея Сергеевича Некрасова, богатого ярославского помещика. Этот внешне-блестящий и не лишенный природного ума офицер был в сущности, заурядным армейцем двадцатых годов, выросшим в мрачных условиях крепостного права,—„красивым дикарем“, едва умевшим подписать свое имя и больше всего на свете интересовавшимся картежной игрой, псовой охотой, женщинами и кутежами. Карты были, впрочем, родовой страстью Некрасовых: по семейному преданию, прадед поэта (воевода) и дед (штык-юнкер в отставке) проиграли в карты несколько тысяч „душ“ крестьян; как известно, не чужд был той же слабости и сам поэт.

В 1817 году „красивым дикарем“-поручиком увлечена однажды, красавица полька Елена Андреевна Закревская, и, так как родители последней, очевидно, неблагосклонно относились к этому увлечению, состоялся тайный увоз молодой девушки и тайный же брак. Такова семейная легенда, известная читающей России по стихам нашего поэта... Легенде этой, как будто, несколько противоречит ставшая теперь известной выписка из метрической книги Успенской церкви Винницкого повета, о браке „адъютанта поручика 28 егерского полка, 3-й бригады, Алексея Сергеева сына Некрасова греко-российского исповедания с дочерью тит. советника Андрея Семенова Закревского Еленою, *того же исповедания, по учинении трехкратного извещения по всяким обыска*“. На первый взгляд, эта выписка категорически опровергает и предание о тайном, чуть ли не насильственном обряде венчания и даже о польско-аристократическом происхождении матери Некрасова. Но мы не решились бы на такой скороспелый вывод: ведь в православие Елена Закревская могла перейти перед самой свадьбой —при желании священника, это могло быть делом одного дня.. И, при таком же желании (а богатый офицер Некрасов без труда мог его вызвать), и

метрическую книгу могли быть записаны также совершенно фантастические сведения об „участии трехкратного извещения и о взятии обыска"... Как бы то ни было,—пускай в свет „легенду", всё-таки основывался не только на воспоминаниях раннего детства, но и на знаменитом „письме", содержание которого он рассказывает в одной из задушевнейших своих поэм („Мать") и которое он, несомненно, держал в руках, уже будучи юношей

> И добрых хранимые отцом
> Твоих работ, твоих бумаг остатки
> И над одной задумался письмом.
> Оно с гербом, оно с виньетой чудной;
> Писал дед то письмо, то французски,
> Польщенным и страстным языком.

Брак родителей Некрасова, брак по страстной любви, оказался, к сожалению, несчастным. Прекрасно воспитанная, редко образованная по тому времени женщина, мать Некрасова была необычным, редким явлением в мало-культурном русском обществе, случайной, экзотической его гостьей; напротив, отец,—не представлявший, правда, чего либо исключительно-чудовищного на фоне мрачной эпохи 20—30-х годов—был самым типичным тогдашним помещиком, в достаточной степени умевшим отравлять жизнь не только своим крепостным, но и собственной семье, хотя, надо сознаться, сын не пожалел темных красок для его обрисовки: дикарь, угрюмый повеса, деспот и даже палач—так и мелькают в тех местах стихотворений и поэм Некрасова, которые посвящены воспоминаниям об отце.

Последний бросил военную службу, когда будущий поэт был еще очень мал. Некрасовы переселились после того в родовое поместье Грешнево (Ярослав. губ.), и здесь потекла та угрюмая, мрачная жизнь, с которою мы так хорошо знакомы по „Родине", „Несчастным" „Матери" и другим поэмам и мелким стихотворениям. Отец бражничал или пропадал целыми днями на охоте, мать, оскорбленная и униженная в лучших своих чувствах, жила одинокой, замкнутой жизнью... Число детей быстро росло (у Некрасова было 13 человек братьев и сестер), но вместе с тем отношения родителей становились все холоднее и отчужденнее...

„Ты ли властелин", обращается поэт, уже умирая сам, к покойной матери:

> . . . . наследственные нравы
> Ты покидал, то буйно проявлял;

Но если он в безумные забавы
В недобрый час детей не посвящал,
Но если он развратный свободы
До роковой черты не доводил,—
На стражу ты над ним стояла годы,
Покуда мрак в душе его царил.

А в „Несчастных" находим и более подробную картину семейной жизни (хотя в общем герой поэмы и не может быть отождествлен с автором по изображению его детства и юности, несомненно, автобиографично):

Рога трубят игриво,
Будя ранний сон детей,
И вслед псы неугомонно...
До солнца сели на коней—
Умчались... Орды вооруженной
Не видит глаз, не слышит слух.
И бедный дом, как осажденный,
Свободно переводит дух.

. . . . . .

Осаду не надолго сняли..
Был вечер—снова рог трубит
Примолкнув, дети побежали,
Но мать остаться им велит:
Их взор уныл, исполнен лени...
Опять седем, трепещу, трепещу!
А ночью свечи зажжены,
Обычный пир кипит мятежно,
И бледный мальчик, у стены
Прижавшись, слушает прилежно
И смотрит жадно (узнаю
Привычку детскую мою)...
Что слышит? Песни удалые
Под топот пляски удалой;
Глядит, как чаши круговые
Пустеют быстрой чередой;
Как на лету куски хватают
И рот захлопывают псы...

. . . . . .

Смеются гости над ребенком.
И чей-то голос говорит:
„Не правда-ль он всегда глядит
Каким-то травленным волченком?
Поди сюда" *Бледнеет мать;*
Волченок смотрит—и ни шагу.
„Упрямство надо наказать—
Поди сюда!"—Волченок тягу...
„А-ту его!" Тяжелый сон...

Николай Алексеевич, принц в семье был, пожалуй, много старше своих многочисленных братьев и сестер, и одинокое детство его протекало в помещично-дворянской патриархальной атмосфере. Чтобы получить об ней понятие, достаточно прочесть „Родину" или другое стихотворение того же периода — „В неведомой глуши", которое автор, по не совсем понятным для нас мотивам, не хотел признавать оригинальным. Первоначально стихотворение было озаглавлено: „Из Лауры", позже — „Подражание Лермонтову", причем в авторском экземпляре сделано было такое примечание: „Сравни Арбенин (в драме *Маскарад*). Не желаю, чтобы эту подделку ранних лет считали, как черту моей личности". И еще следовало приписать о добавление: „Был влюблен и кузырнул". То есть нарисовался демоническим плащом сильно много испытавшего, во всем разочаровавшегося человека..

Позволительно, однако, усомниться в полной искренности этого примечания.

Сходство стихотворения с монологами Арбенина очень слабое, чисто формальное; самый мотив разработан в нем с такими пластически-реальными подробностями и в таком оригинальном освещении, что „подражанием" назвать эти стихи невозможно. Несомненно, что поэта смущали следующие строки его пьесы:

Я в мутный разгул ринулся поток
И молодость мою *позорно и безумно*
В разврате безобразном сжег.

И действительно, по отношению к личной его биографии это абсолютная неправда! Если и были в молодости Некрасова не совсем безгрешные увлечения, то конечно, в ней было во сто раз больше непосильно-тяжелого труда, мучений бедности, благородных юношеских стремлений... Начало стихотворения дает за то вполне верную картину растлевающего влияния на юную душу — отцовского дома с его рабовладельческими правами и инстинктами:

В неведомой глуши, в деревне малодушной,
Я рос средь буйных дикарей,
И мне дала судьба, по милости безбожной,
В развратители людей.
Вокруг меня кипел разврат зловонною грязью,
Боролись страсти нищеты
(т. е. разоренных и озлобленных рабов-крестьян).
И на душу мою, и жизни безобразной
Ложились грубые черты.

И прежде, чем почать ученьем неразвитым,
Ребенок, все в чем-нибудь,
Привык уже первым выходом ядовитым
В мою магическую грудь.

Ведь это почти то же, что рассказывается и в знаменитой „Родине", где Некрасов уже, говорит о самом себе:

И вот они опять, знакомые места,
. . . . . .
Где было суждено мне Божий свет увидеть,
Где научился я терпеть и ненавидеть,
Где ненависть в душе постыдно притая,
Где *иногда бывал помещиком и я*;
Где от души моей, *доверчиво-распятой*,
Так рано отлетел покой благословенный,
И не ребяческих желаний и тревог
Огонь томительный до срока сердце жег...

Какие тяжелые, поистине кошмарные воспоминания вынес и этот из своего детства, видно из заключительных строк той же „Родины":

И, *с отвращением* кругом читая взор,
С отрадой вижу я, что срублен темный бор и т. д.

После этого отнюдь не кажется преувеличением страдальческий крик:

Всему, что, жизнь мою спутав с первых лет,
Проклятьем на меня легло неотразимым,
Всему начало здесь, в краю моем родимом!

По счастью, в том же родном крае и в том же раннем детстве Некрасова лежит начало и всему, что было благословением его жизни. Это — удивительно-светлый образ рано умершей мученицы-матери, навсегда воплотившей для него идеал любви и гуманности! Без преувеличения можно сказать, что более трогательного, более поэтического образа не знает не только русская поэзия, но, быть может, и вся русская литература... Смягчая и просветляя мрачные звуки некрасовской лиры, образ этот не раз спасал и самого поэта от конечного падения...

Повидайся со мною, родимая,
Появись легкой тенью на миг!
Всю ты жизнь прожила нелюбимая,
Всю ты жизнь прожила для других.
С головой, бурям жизни открытою,
Весь свой век под грозою сердитою
Простояла ты грудью своей
Защищая любимых детей.
. . . . . .
Тревоженья мирского далекая,

С [illegible]
Русокудрая, голубоглазая,
С тихой грустью на [illegible] устах,
Под грозой всенощно-бденного
Полюда умерла ты, исцеленная.
И такой же явилась ты мне
При волшебно-звучащей лире.
Да! я вижу тебя, ближнюю,
И из груди твоей я [illegible]
Не робеть перед грозной стражею
И учила ты жить мою
[illegible] не страшны друзей отмщения,
Не обманы клятвы тяжкие,
Нужны только слова прощения
Ты, чистейшей любви [illegible]!
. . . . . .
Уподоблю бесславь я [illegible],
Сколько раз я над [illegible]
Поднимал [illegible] молитву
Своей [illegible]
Выходя на дорогу [illegible]
Голубиться ходить я по ней,
Погружаясь в [illegible]
Мелких и мысли, мелких [illegible]
От [illegible], просто [illegible],
Обгрызающих руки и [illegible]
Меня мои в [illegible]
В [illegible]

Читатель, конечно, [illegible] раз перечитывал эту бесконечно-трогательную молитву-жалобу—и, тем не менее, мы уверены, он и поверит нам на [illegible] длинную выписку...

„Если бы Некрасов не [illegible] больше не написал, кроме этого изумительного [illegible], — говорит П. К. Михайловский по поводу „Рыцаря на час", — то мы уже [illegible] бы ему „почтую память"; едва ли кто-нибудь, по крайней мере, в молодости, мог читать его без [illegible] [illegible] поэтом „звездою [illegible]". Мы испугались одно [illegible]. И жил в Любани, по пути [illegible] в Петербург гостил [illegible] часть ушел [illegible], в том числе Г. И. Успенский. Потом [illegible] с петербургских [illegible] и тем и сем; потом [illegible] продолжал по-старому пить. Г. И. Успенский выбрал для себя „Рыцаря на час". И вот [illegible] в [illegible] деревенской [illegible] на [illegible] для [illegible] трезвом, [illegible] тишине и [illegible] тьме; в комнате, [illegible]

стола, освещенного лампой, сидит несколько человек, повторяю, большею частью немолодых; Глеб Иванович читает; мы все слушаем с напряженным вниманием, хотя наизусть знаем стихотворение. Но вот, голос чтеца слабеет, слабеет и—обрывается; слезы не дали кончить... Простите, читатель, это маленькое личное воспоминание. Но ведь оно, пожалуй, даже не личное. По всей России ведь разбросаны эти маленькие деревянные домики на безмолвных и темных улицах; по всей России есть эти комнаты, где читают (или читали?) „Рыцаря на час" и льются (или лились?) эти слезы"...

Для нас важно сейчас констатировать, что эта способность будить в читателях „благие порывы", в свою очередь, заложена была в душу Некрасова его матерью.—Полька по происхождению и воспитанию, против воли родителей вышедшая за русского офицера, после нескольких лет походной жизни она очутилась в чужой ей до тех пор, грубой обстановке захолустного помещичьего дома, окружения „роя подавленных и трепетных рабов" и здесь, одинокая, оскорбленная, увидала, как та сказочная царевна, которую жестокий колдун держит и терзает в плену. Но в сказке,—с горечью говорит Некрасов в своих „Несчастных»,—придет благородный витязь, убьет злого волшебника и вместе с ключями его негодной бороды бросит к ногам освобожденной красавицы свою руку и сердце: действительность была ужаснее. Без конца и без надежды на освобождение, „любя, прощая чуть дыша", „святая женская душа" полых двадцать лет провела в своей пустыне,—всю молодость, всю жизнь!

По счастью, мать Некрасова умела не только плакать и „легкой тенью" бродить по липовым аллеям греш-невского сада; не умея бороться активно, она в высокой степени обладала способностью борьбы пассивной, она была „горда и *упорна*" (качество, вполне унаследованное и ее сыном-первенцем). Она могла терпеть, нести свой крест „в молчании рабы", но жила и действовала всегда по своему, так, как подсказывало ей любящее сердце. Ее сын и поэт указывает, что, осужденная сама на страдания, за страдания же полюбила она и свою новую родину.

Несчастна ты, о родина, я знаю —

читает он в ее честь обращение к Волге память традиционных годов, жизни первого подольского поколения:

Весь край в крови, весь запад обагрен,
Где край, где я люблю и умираю,
Несчастное, несчастное отчизна!

И в продолжение двадцати долгих лет она была оплотом хранителем не только для собственных детей, но и для крепостных рабов. „Ты не могла голодному дать хлеба, ты не могла свободы дать рабу; но лишний раз не сжало отчаяние страха его души, но лишний раз из тревога и пыли он поднял взор бодрее к небесам". И не может быть никакого сомнения в том, что семена любви к несчастному подбощенскому народу посеяны были в душе нашего поэта именно рукою его страдалицы-матери. Рисуя впоследствии (в поэме „Пир на весь мир") симпатичный образ семинариста Гриши, Некрасов, быть может, не об одном Добролюбове вспоминал, когда говорил:

И скоро в сердце мальчика
С любовью *к бедной матери*
Любовь ко всей вселенной
Слилась — и лет пятнадцати
Григорий твердо знал уже,
Что будет жить для счастия
Убогого и темного
Родного уголка...

Если не жил для счастья убогого и темного люда, то работать для него, несомненно, мечтал и юноша-Некрасов. Гуманное влияние матери выражалось не в одном лишь примере, но и в непосредственном воздействии. Она была человеком образованным: на полях остающихся после ее смерти польских книг привезенных когда-то с далекой родины сын ее — поэт нашел впоследствии рой заметок, обнаруживших пытливый ум и глубокий интерес к предмету чтения. Уходя мыслью к временам раннего детства, он вспоминает, как в зимние сумерки, у догорающего камина, она держала его на коленях и ласковым, мелодическим голосом рассказывала под завывание вьюги, сказки „о пустырях с монахах, королях".

Потом, когда читал я Данте и Шекспира,
Казалось, я встречал знакомые черты:
То образы из их живого мира
В моем уме напечатлелись ты.

Таким образом, и первая искра любви к поэзии была заронена в душу Некрасова тоже матерью; известно, что семи лет

от роду он уже писал стихи, и даже сохранилось его детское четверостишие, обращенное к матери:

Любовью матушка, дружно
С' я слабый труд
И рассмотрю,
Годится ли куда-нибудь.

Из всего этого видно, что чуткая, нервно-впечатлительная душа будущего поэта, на заре сознательной жизни, находилась под двумя резко противоположными влияниями; и, быть может, эти-то влияния и послужили фундаментом при создании загадочно-сложного, полного таких удивительных контрастов, характера поэта и его одновременно—реальной и идеалистической музы.

Мы проходим гимназического периода жизни Некрасова, так как в литературе имеются пока лишь глухие, отрывочные и часто противоречивые сведения об этих годах. Каковы были его учителя, товарищи? Какой уровень знаний и нравственного развития давала когдашняя ярославская гимназия своим ученикам? Как жили, что делали и читали эти последние вне стен учебного заведения? Восстановить полную картину этих лет жизни Некрасова вряд ли уже удастся. Одно не подлежит сомнению, что пребывание в гимназии в значительной степени снизу с Некрасова унизительные путы отцовского деспотизма и рано развило в его характере черту самостоятельности. В родительскую деревню он приезжал в эти годы только на рождественские, пасхальные и летние каникулы, все же остальное время жил с младшим братом в городе на частной квартире, пользуясь почти безграничной свободой. Правда, к нему с братом приставлен был крепостной дядька, но надзор этот ограничивался лишь материальной стороной жизни юных барчуков, а никак не умственной или нравственной. Существует указание (основывающееся, кажется, на рассказах сестры поэта), будто Некрасов-гимназист злоупотреблял этой свободой, участвуя в товарищеских пирушках и других подобных развлечениях, учась плохо и к гимназическому начальству относясь непочтительно (между прочим, он писал сатирические стихи на учителей,—обстоятельство немаловажное, будь оно, и на исключение его из четвертого класса ...

Сей иное предание это не следует, однако, принимать с абсолютным доверием. Известно, ведь, как относится обыкно-

всею семьей к исключенному из училища юноше: обвиняют во всем его одного, охотно преувеличивают и раздувают до гигантских размеров его шалости, его распущенность... Что последняя не доходила у Некрасова до чего-нибудь отталкивающего, безобразного, порукой служат нам те же „Мечты и звуки", составившиеся, главным образом, из стихотворений, писанных в гимназические годы и, однако, проникнутых светлым идеализмом и глубоким религиозным чувством. Не такова была натура Некрасова, чтобы систематически предаваться лени, шалопайству и, тем более, распутству. Шестнадцатилетним юношей очутился он на еще большей свободе, в Петербурге, совсем уже вдали от родительского глаза,—и это лишь не помешало ему (даже если и бывали временами увлечения и ошибки) упорно трудиться и идти по раз намеченному пути. Природная и крепкая любовь и идеалистическое влияние матери, очевидно, были крепким щитом против всех недобрых и темных сил жизни.

III.

Тяжелая рабочая юность. Неумирающий идеал.—Смерть матери.

За тяжелой порою детства и отрочества, омраченной ранним знакомством со всей грязью и ужасом крепостного строя русской жизни, последовала еще более безрадостная и мрачная юность. Вскоре она затмила собою самые ужасные воспоминания ранних лет, и как это часто случается, юноше начало даже казаться, что позади остались одни лишь „ручейки, долины, холмики, лески и все, чем *в доле беззаботной в деревне счастлив земледел*, чему-б теперь опять охотно душой предаться я хотел". (Мечты и звуки).

Я был несчастней,—

сравнивает он дальше свою долю с долей земляка-товарища, тоже попавшего в Петербург:

Я пил дольше
Очарованье бытия,
За то потом и плакал больше,
И громче [illegible] я.

Как известно, благодаря ссоре с отцом,—сын богатого сравнительно помещика, Некрасов очутился один-одинешенек

на улицах огромного города, в положении почти нищего; но на психологическую сторону этого превращения как-то мало обращалось до сих пор внимания. По исключении из гимназии, поэту грозила серьезная опасность пойти по следам предков, в ранние годы поступавших в военную службу и там, в душной атмосфере казармы, довершавших свое воспитание или, лучше сказать, развращение, начатое в рабовладельческой усадьбе. Военщина являлась в те времена не только последним приютом для всех недорослей из дворян, неудачников на других путях жизни, но и окружена была в глазах обывателя известным ореолом, как одна из наиболее завидных блестящих карьер. О такой карьере для сына мечтал отец, толкая юношу на проторенный путь и материальные затруднения родителей: семья их все росла, а денежные средства, благодаря широкой продаже плана дома, все таяли (одно время Некрасова отца соблазнила даже должность исправника: на предложительную и значительную поддержку из дому юноша рассчитывать, поэтому, не мог). И вот, летом 1838 года *) его отправили с рекомендательным письмом к жандармскому генералу Политову в Петербург, для поступления на казенный счет в один из кадетских корпусов.

В Петербург Некрасов явился, письмо Политову передал, но — вместо корпуса — стал готовиться к экзаменам в университет и, как бы бросая вызов ненавистному прошлому, в сентябрьской книжке „Сына Отечества" напечатал первое свое стихотворение „Мысль":

Спит дряхлый мир, спит старец обветшалый!..

Биографы поэта утверждают, что все это вышло случайно: Некрасов познакомился, мол, с студентом Глушницким, и тот так „увлек его рассказами о преимуществах университетского образования", что мысль о корпусе была брошена. В действительности, вряд ли произошло это так случайно: ведь не Глушницкий же заставил Некрасова, почти на другой день по приезде в Петербург, понести свои стихи в журнал Полевого. Очевидно, и сам поэт, не хуже других понимал все преимущества интеллектуальной карьеры перед фронтовой шагистикой. Зна-

*) Сам Некрасов называл 1837 г., год смерти Пушкина, но точное указание сестры его (20 июня 1838 г.) повидимому, более соответствует действительности.

ковство с отдаленным грязным сыром, по всей вероятности, в его романах роль последней капли, переполнившей чашу.

С легкой ли, верной ли руки Достоевского, утверждается нередко, что „каннибальской клятвой" Некрасова, данной им себе в юности, была клятва „не умереть на нарах". Сам Достоевский высказывает эту страшную мысль в довольно грубой и язвительной форме: „Мизинчик—вот демон Некрасова, демон, который осилил, и тот так остался на месте и никуда не пошел(?). Этот демон привязался еще к сердцу ребенка, ребенка пятнадцати лет, очутившегося на Петербургской мостовой, почти бежавшего от отца. . Тогда-то и начались, быть может, мечтания Некрасова, может быть, и сложились тогда же на улице стихи: *в кармане моем—миллион!* (Из поэмы „Секрет")!

Никто другой из русских писателей не страдал больше от клеветы и сплетней мракобесов и личных недругов, как Некрасов. Это был, можно сказать, какой-то организованный поход... И думается,—при всех недостатках характера и ошибках жизни нашего поэта—главное основание, главную пищу этим сплетням дали его многочисленные публичные самообвинения, его горячие покаянные песни, плод высоко-развитой исключительно-чуткой совести... Теперь, когда факты жизни Некрасова,—все до одного,—вошли в его „жизнь", более или менее общеизвестны, мы, конечно, вправе назвать грубые намеки Достоевского, по женской черте, необдуманными. Конечно, никакого права не имел он оглашать уродливого героя Некрасовской сатиры („И вот тебе, *корыстолюбец*, награда за жизнь *воровскую твою!*") с самых ее авторов! Не имел он права утверждать и больше, что жажда материального самообеспечения („деньги *миллиона*"!) была, будто бы, своих лет главным двигателем первой духовной деятельности Некрасова... Не говоря уже о том, что никакого „миллиона", — как мы [illegible] знали, Некрасов к концу жизни не стяжал, утверждение это во всех отношениях обидно—оно разлетается в прах при первом прикосновении критики. Как, в самом деле, странно поведение Некрасовского „демона"!

Придается огромное значение „каторжной клятве" Тургенева, выразившего свой протест против крепостного права в оскорбленной его форме злых художественных образов, которыми так косноязычно нас в „Записках Охотника"; не разве же можно сравнить этот „протест душевный", в сущности, про-

тест с действительно пламенным протестом Некрасова, всю жизнь буквально грешного «святым беспокойством» за судьбы народа? Здесь перед нами всеобъемлющая страсть, о которой поэт имел бы полное право сказать словами лермонтовского героя:

Я знал одной лишь думы власть,
Одну но пламенную страсть:
Она, как червь, во мне жила,
Изрыла душу и сожгла!
Я эту страсть, во тьме ночной
Вскормив слезами и тоской.

Эта страсть проникла в душу Некрасова еще в раннем отрочестве, на вольжском берегу, при виде шедших бичевою и певших заунывные песни бурлаков.

О, горько, горько я рыдал,
Когда в то утро я стоял
На берегу родной реки,
И в первый раз ее назвал
Рекою рабства и тоски!
Что я в ту пору замышлял,
Созвав товарищей-детей,
Какие клятвы я давал!—
Пусть умрет в душе моей,
Чтоб кто нибудь не осмеял! *)

Целых восемь лет (1838–1846) человек подвергается опасности зачахнуть от непосильной и неблагодарной работы, даже буквально умереть с голоду, а между тем—стоило ему вернуться на лоно благонамеренности и, примирившись с отцом, поступить в корпус, и он сызнова был бы сыт, обеспечен и будущее улыбалось бы ему в виде, может быть, блестящей военной карьеры. «Он был бы, если бы захотел,—говорит Н. К. Михайловский,—блестящим генералом, выдающимся ученым, богатейшим купцом. Это не личное мнение, которое, я думаю, кого-нибудь удивит, это мнение Некрасова». Однако, мы знаем, что за все годы своих тяжелых скитаний он ни разу не подумал ни об одной из подобных возможностей «самообеспе-

*) Несмотря на позднейшие «Детские впечатления», отсюда видно, что в стихотворении «На Волге» Некрасов рисует собственные детские впечатления. По первоначальному плану он предполагал эти впечатления взять в основу поэмы «Рыцарь на час», которая должна была стать первой частью задуманной им эпопеи, названной впоследствии «Из поэмы *Рыцарь на час*, гл. VI: Бурлаки в деревне».

чения»... Рисуя впоследствии в «Несчастных» душевное состояние юноши, заброшенного в столичный омут, поэт писал:

Счастлив, кому жизнь в тягость
Стяжания, кто ей вполне был
И в жизни ни единожды Бога
В пустой груди не ощутил,
Но если *той тревоги смутной*
Не чужд осталось сердце навсегда!
В глухую полночь, беспристрастный
По спящим городам пойдешь

Так именно и было с Некрасовым. Не «дорога стяжания» пленяла его: душой его владела иная властная сила, иная «смутная тревога»,—страстная любовь к родине и народу, которая могла вылиться в единственно возможную в те времена форму служения родной литературе,—и, посмотрим на все частные отклонения и, быть может, даже падения, силе эта всегда брала в его душе верх. Ниже мы напечатаем записку Г. З. Елисеева, чрезвычайно интересно и оригинально освещающую эту сторону личности Некрасова: пока же ограничимся сказанным и вернемся к ранним годам поэта, к тем обстоятельствам, при которых окончательно сформировались его личность и поэзия.

Первые годы пребывания Некрасова в Петербурге совпали с одним из самых печальных и вредных периодов русской журналистики вообще, и петербургской в особенности. Впоследствии сам Некрасов так охарактеризовал этот период.

В то время пусто и мертво
В литературе нашей было.
Скончался Пушкин—без него
Любовь к ней публики остыла.
Ничья могучая рука
Ее не вызывала к неге;
Лишь два задорных писака
На первом плане в ней шумели...

И в самом деле, со смертью Пушкина литературный диапазон сразу резко понизился... Лучшие элементы приуныли и пали духом, худшие—подняли голову и обнаглели... Что касается общества, то оно еще помнило, как рассказывает Тургенев в «Лит. и жит. воспоминаниях», «удар, обрушившийся на самых видных его представителей лет двенадцать перед тем; и из всего того, что проснулось в нем впоследствии, особенно после 55 г., ничего даже не шевелилось, а только бродило—глубоко, но

смутно—в некоторых молодых умах. Литературы, в смысле живого проявления одной из общественных сил, находящегося в связи с другими, столь же и более важными проявлениями их—не было, как не было прессы, как не было гласности, как не было личной свободы; а была словоохотность—и были такие словесных дел мастера, каких мы уже потом не видали».

Действительно, не только в талантливых, но уже и в гениальных представителях литературы в конце 30-х годов не было недостатка: загоралась яркая звезда Лермонтова; к голосу Белинского уже прислушивалась вся книжная Россия; Гоголь был признанным главою «натуральной школы»; жив еще был и Жуковский... Но Белинский лишь в самом конце 39 г. переехал из Москвы в Петербург, и в письмах отсюда к московским приятелям долго время жаловался на полное одиночество. Жуковский жил при дворе и от журнального мира всегда стоял в стороне. Лермонтов,—когда не был в ссылке,—вращался только в высшем обществе и к литературе относился с показным пренебрежением. Наконец, Гоголь, в которого в это время начинался уже печальный внутренний перелом в сторону мистики, жил большею частью в Риме и лишь редкими наездами бывал в Москве и Петербурге.

Во времена Пушкина—кроме него самого, издававшего «Современник»,—во главе журналистики стоял такой даровитый и смелый боец за правду, как Полевой, но к концу 30-х годов от этого смелого бойца уже оставалась одна жалкая тень. Жизнь заставила его пойти на компромиссы, и, сильно подвинувшись вправо, сделавшись поставщиком псевдо-патриотических драм и фактическим редактором грубо-булгаринского «Сына Отечества», он близко подошел к направлению «Северной Пчелы». Дух „двух здоровых полуев", т. е. Булгарина и Сеньковского, занял вообще в эти годы непропорционально большое место в петербургской журналистике. Несомненно, Сеньковский был чище Булгарина, даровитее и умнее, но уж его, по остроумному выражению баснописца Крылова, был „какой-то дурацкий", свободный от всяких принципов. Его, гремевшая в 30-х годах и имевшая до 7000 подписчиков, „Библиотека для чтения" сеяла в умах читателей легкомысленное, „веселое" отношение решительно ко всем явлениям литературы и жизни... В этом смысле рука об руку с „Библ. для Ч." шли довольно многочисленные в эти годы альманахи, сборники и другие полу-лубочные издания, един-

ственно причастно возникновение которых было расчет издателей-барышников на пробуждающуюся в русской публике охоту к чтению. Пушкинский „Современник" в руках корректного, но скучноватого профессора эстетики Плетнева влачил жалкое существование; „Отечественные Записки", после продолжительного перерыва возобновленные в январе 1839 г. лишь с конца этого года, с переездом Белинского в Петербург, куда и все его московские приятели (Боткин, Грановский, Кудрявцев, Горбунов) перекочевали в этот журнал, стали приобретать постепенно значение боевого либерального органа.

В такое-то время явился в Петербург Некрасов, полный радужных юношеских мечтаний и горячей веры в литературу, как в единственно возможную в то время форму разумной и свободной деятельности. Неопытный юноша-провинциал, мало развитой в литературном смысле вообще, он не умел еще разбираться в тогдашних литературных партиях и направлениях, и, по всей вероятности, какой-нибудь Греч или Сенковский ничем ровно не отличался в его глазах от Полевого или Краевского. Но в „Литерат. Газете", „Библиотеке для Чт." „Сыне Отечества," „Пчеле" и „Северной Пчеле" стояло только собственное имя издателя, а в „Отечественных Записках" — имя Белинского. Но случилось это, к сожалению, не так скоро...

„За славой я шел к литературе", — вспоминал позже поэт. И действительно, одни успели напечатать в журналах десяток, другой детских стихотворений, чтобы успеть запастись с дубовыми лаврами и воротиться литературою дорогою в виде холода, голода и одиночества в большом городе, ровно год спустя по прибытии в Петербург, он уже издал, как мы видели, в ценсурную книжку почтовых стихов ровно 10 листов. Некрасов сообщает обыкновенно, что к этому времени ему удалось выкупить его из кассы, чтобы издать на свои деньги, но это, конечно, недоразумение. Деньги на издание собраны были Некрасовым по подписке, и настоящая нужда Некрасова с осени 39 г., т. е. с поступления его в студенты университета и окончательного разрыва с отцом, еще только начиналась с этого именно времени, в течение двух трех лет, у него шла непрерывная борьба за существование в буквальном смысле слова, — с почтальонами в неотапливаемых норах, жизнью в сырых углах и подвалах, корпень-

ем за черной литературной работой, едва спасавшей поэта от голодной смерти [1]).

О неудачном литературном дебюте Некрасова мы уже говорили [2]. Собственных признаний поэта насчет впечатления, какое произвело на него это событие, у нас, к сожалению, нет. Все говорит, однако, за то, что здоровое критическое чутье Некрасова, сила его большого природного ума подсказали ему, что если приговор Белинского и был несколько резок по форме, то по существу заключал в себе много правды: на почве абстрактных лирических излияний Некрасов не мог бы пойти далеко. Неравнодушные художники слова - Пушкин и Лермонтов умели, конечно, превращать в настоящие бриллианты поэзии все, к чему ни прикасались. Так, Лермонтов, уже в очень ранние годы, несмотря на поверхностное знакомство с жизнью, на основании лишь „внутренних видений своего духа" (выражение Белинского) мог создавать вещи вроде Ангела" или „Паруса", не уступающие его последним шедеврам. Но это — завидное право гения, являющегося, может быть, раз в столетие... На свое счастье, Некрасов рано понял это; он принял свою неудачу, как вполне заслуженную, и с чисто-юношеским ригоризмом решил, что он совсем не поэт. По крайней мере, мы знаем, что после плачевного опыта с „Мечтами и Звуками" он надолго оставил лирику, а к самой этой книжке отнесся с беспощадной свирепостью; все уцелевшие от продажи экземпляры (а они составляли, вероятно, значительнейшую часть издания) немедленно уничтожил; во все позднейшие издания стихотворений никогда не включал из „Мечтаний и Звуков" ни одной пьесы и до конца жизни не любил даже вспоминать о них. Наконец, ни малейшего неприязненного чувства не сохранил он к своему неумолимо-строгому судье Белинскому, к которому, наоборот, с первого же дня лич-

[1]) В воспоминаниях Белогодового о графе Лорис-Меликове, который в юности (именно в начале 40-х годов жил одно время с Некрасовым, приводится любопытное показание гр. Лориса о том, что мать поэта изредка, тайком от мужа, присылала сыну небольшие суммы денег.

[2]) До чего мало знакомы у нас с биографией Некрасова, показывает следующая цитата из одной недавней юбилейной статьи. „Мечты и Звуки" — так назывался первый сборник, доставивший Некрасову некоторую *известность* и *порядочную* материальную выгоду. Но уже *раньше того* [?] он писал в разнообразных жанрах, стихами и прозою, *начиная с водевилей* и заканчивая критическими разборами ученых книг" („Научное Обозр.", 1903, янв.).

ного знакомства стал относиться благоговейно к своему преданного и верного ученика (и благоговел это долго-до могилы). Можно думать, что вращаясь в студенческих кругах Петербурга, Некрасов уже и в момент выпуска своей злополучной книги хорошо знал имя Белинского и высоко его ценил,—оттого-то он и принял так к сердцу приговор полного критика.

Чего, однако, стоило этому гордому, заблудшему „с самого начала жизни раненому" сердцу подобное безмолвие и, после-дующему, спокойное отречение от заветной юношеской мечты? Об этом, конечно, свидетелей мы не имеем, хотя и не трудно представить себе внутреннюю бурю, пережитую поэтом. Настойчивый тянул к литературе и поощрял, продолжая, быть может, подзадоривать: „здесь твое призвание, здесь твое место!" А рассудок и опыт жизни говорили другое: „Стой, ты—не поэт, а всего только мечтатель... Войдя в этот храм, ты недостоин".

Это была, разумеется, тяжелая внутренняя драма: в течение нескольких лет рефлексия одерживала верх над инстинктом, и Некрасов шел по дороге литературного чернорабочего. Но, с другой стороны, именно в тот обстоятельстве, что он не бросил все-таки литературы, сказалась могучая сила инстинкта настоящего таланта. В лице Некрасова мы имеем яркий пример того, что значит крупное литературное дарование: точно стихийная сила, рано или поздно оно неудержимым потоком прорвется наружу, несмотря ни на какие искусственные преграды и плотины! Несмотря на всю тяжесть нужды, Некрасов никуда не пошел от литературы. Не удалось в качестве призванного жреца войти в храм,—он остался у ворот храма, в качестве простого подмастерья сора, рецензента, куплетиста, фельетониста, лишь бы быть *возле* литературы! Даже умирая с голоду, не покидал он своего поэта, и ему, несмотря на терпение, упорный труд, горячую любовь, случай (в виде знакомства с Белинским), а главное—развернувшийся постепенно талант не выжили на широкую дорогу славы...

В биографии Некрасова этот период его жизни (1840—1845 гг.) принадлежит одним из самых темных. Известны, правда, отрывочные рассказы самого поэта о некоторых характерных моментах его тогдашнего житья-бытья, о том, напр., как голодая и не имея гроша в кармане, заходил он в отдел. ресторан на Мещанской, где дозволялось читать газеты и где, ни чего себе не заказывая, бесплатно брал для виду булку, а в то же время придвигал незаметно тарелку с хлебом и насыщался...

В другой раз он заболел от продолжительной голодовки и много задолжал квартирному хозяину-солдату. Вернувшись однажды поздно вечером от товарища совсем больным, он не был впущен хозяином в свою каморку. Между тем, на дворе стояла холодная ноябрьская ночь... Будущему знаменитому писателю пришлось бы замерзнуть под забором, если бы под ним не сжалился проходящий мимо извозчик, который отвез его в какую-то ночлежку на окраине города. Там же Некрасов отыскал себе и заработок, за 15 копеек написав кому-то из товарищей по злоключениям прошение... В дополнение к этим отрывочным рассказам-воспоминаниям, мы имеем краткое глухое признание поэта, что он попал в эту пору в такой литературный кружок, в котором „скорее можно было отупеть, чем развиться“... С другой стороны, если перебрать все написанное Некрасовым за эти 4—5 лет (за всю жизнь он написал, по собственному признанию, до 300 печатных листов *прозы*, и конечно значительная доля их падает на юношеские годы), то станет вполне ясно, что бедному юноше было в это время не до „жизни“ в настоящем смысле этого слова! Нужно от души пожелать, чтобы нашелся, наконец, добросовестный исследователь, который взял бы на себя труд внимательно перечесть всю груду юношеских писаний Некрасова и проследить, насколько они в самом деле были заботой о каждом куске хлеба, и насколько отразились в них внутренняя жизнь поэта. Кроме многочисленных народных и юмористических куплетов (из которых в обыкновенное собрание стихотворений попал только „Говоруша“), Некрасовым между 1838 и 1843 гг. написаны следующие рассказы и повести [1]: „Макар Осипович Случайный“, „Без вести пропавший инвалид“, „Утро в редакции“, „Нищий“, „В Сардинии“, „Двадцать пять рублей“, „Поставщик“, „Капитан Кук“, „Необыкновенный лавочник“, „Похождения 23 лет“, „Кровь. Предсмертные записки дурака“, „Жизнь Александры Ивановны“, „Опытная женщина“, „Жизнь и люди (философская сказка)“; затем следующие недописанные и брошенные под неотступным давлением нужды: „Актер“, „Шила в мешке не утаишь“, „Феофилат Онуфриевич Боб“, „Муж не в своей тарелке“, „Подушкины похороны“, „Бог что

[1] Сведения эти взяты из статьи г. В. Гольцева „Литературные заметки Некрасова“ („От. Зап.“ 1873 г., кн. декабрь), к сожалению, очень краткой и далеко не полной картины, а характеристику произведений поэта Некрасова.

чинит влюбиться в актрису", „Материнское Благословение", „Похождения Петра Столбикова". Но вся эта беллетристическая производительность должна, кажется, померкнуть перед массой написанных Некрасовым театральных и литературных рецензий. О количестве их можно судить по тому обстоятельству, что за *один* 1841 год и в *одной* только „Литерат. Газете" г. Горленко насчитал их больше тридцати, а между тем, Некрасов писал рецензии постоянно, из года в год, помещая их почти во всех литературных журналах 40-х годов, в „Русской Инвалиде", „Прибавлениях к Инвалиду", „Библиотеке для чтения", „Отеч. Записках", „Пантеоне" и даже „Финском Вестнике"!

Много работал также Некрасов в качестве фельетониста... Но всего этого мало: нужда привела его и к лубочным издателям (Иванову и Полякову), для которых он сочинил несколько азбук и сказок. В числе последних известна одна большая „русская народная сказка в стихах" (больше 2000 стихов) „Баба-Яга, костяная нога". Состояла она из восьми глав; в первых двух автор старается подражать манере „Руслана и Людмилы", в остальных—народным сказкам Пушкина.

Действительной народности в этой „народной" сказке, также как и поэзии—ни капли; содержание вполне мелкое, форма—примитивная [1]). Невольно приходит в голову, что „Баба-Яга" писана Некрасовым не в Петербурге, в 1841 г., а еще в Ярославле, двумя-тремя годами раньше, теперь же, в минуту жизни трудную, лишь слегка, быть может, подправлена и пущена на книжную толкучку...

Под гнетом этого беспросветного черного труда проходили годы, лучшие годы молодости...

Кажется, летом 1842 года в жизни Некрасова случилось

---

[1]) Вот небольшой образчик. Баба-Яга старается соблазнить героя Булата:

Да и чмок его тут в губы...
Отъ Булат с досады зубы
Тут колдунье не разбил:
„Чтобы черт тебя любил!—
Закричал он,—я не стану...
Я люблю одну Любану"
Ха-ха-ха! Да хи-хи-хи!
И пустилась во смехи:
„Полно, маленький дружочек,
Мой прекрасный жизненочек,
Чем же я тебе худа?
Где же лучше красота?
Рот немножко широконек,
Нос изрядно великонек,
На макушке есть рога,
Словно кость одна нога.
Да немножко ухо длинно,
Но за то ведь я невинна!
Вот что главное, дружок..."
И опять Булата чмок!
Чуть не выл Булат со злости...

знаменательное событие—примирение с отцом и поездка в родное Грешнево. За время четырехлетнего отсутствия поэта там произошло много печального. Умерла, прежде всего, любимая сестра его, трагическую судьбу которой рисуют следующие строки из „Родины“:

И, ты, делившая с страдалицей бесстрастной
И горе, и позор судьбы ее ужасной,
Тебя уж также нет, сестра души моей!
И дома крепостных любовниц и царей
Гонимая стыдом, ты жребий свой вручила
Тому, кого ты не знала, не любила...
Но, матери своей печальную судьбу
На свете повторив, лежала ты в гробу
С такой холодною и строгою улыбкой,
Что дрогнул сам палач, запятнавший ошибкой.

Других подробностей тяжелой драмы не сохранилось, но легко представить себе, что переживала несчастная мать, сама давно уже сгоравшая и таявшая, как свеча. Повидимому, незадолго до ее смерти в доме произошла какая-то дикая история, быть может, одна из многих, какие бывали между бедной страдалицей и ее властелином; на это есть намек в „Рыцаре на час“: „И гроза над тобой разразилася, *ты, не дрогнув, удар приняла*!...“ Сам „палач“ не выдержал своей роли, и, в позднем раскаянии, упал к ногам залученной им женщины: Ты победила! У ног твоих детей твоих отец...“.

Некрасова вызвали из Петербурга; но, по всей вероятности, письмо от отца написано было в успокоительном тоне, позволявшем думать, что непосредственно близкой опасности больной не грозит: по крайней мере, поэт не поторопился выехать,—и получил вскоре известие, что все уже кончено. Мать Некрасова умерла 29 июля 1841 года, и когда следующим летом он собрался посетить Грешнево, на могиле ее уже лежала плита с вырезанной на ней надписью, а в доме сделаны были перестройки и заведены новые порядки.

У той избы, где ты лежишь, родная,
Припомнил я, волнуясь и мечтая,
Что мог еще увидеться с тобой—
И опоздал!.. И жизни трудовой
Я пред тобой, в страсти, и невзгодах,
Захлестнут был я невскою волной...

Встреча с отцом имела наружно-мирный характер. К 20-летнему юноше уже нельзя было относиться, как к мальчику.

и возможно, что старик испытывал теперь даже некоторое почтение к сыну, к его твердости в умении стоять на собственных ногах. „С устатой головой, не жив, не мертв (я голодал подолгу), *но горделив*—приехал я домой", находим в нашем „Мать" воспоминание об этой поездке на родину.

После смерти жены отец Некрасова прожил еще около 30 лет, но поэт уже редко вспоминает об этом позднейшем периоде его жизни, а если и вспоминает, то с неравномерно большей мягкостью; иногда прорываются даже, как будто, теплые нотки:

Буря воет в саду, буря ломится в дом...
Я боюсь, чтоб она не сломала
Старый дуб, что *посажен отцом*,
И ту ель, что мать посадила...
(1861 г.)

Мой черный конь с Кавказа привезенный,
Умен и смел,—как выстрел, он летит;
Еще отцом к езде приученный,
Как вкопанный, при выстреле стоит.
(1874 г.)

IV.

Гуманная школа Белинского.—Неизгладимое влияние режима „ежовых рукавиц". Герой-раб.

Мы подошли к событию, сыгравшему в истории развития нравственной личности Некрасова не меньшую, если не большую, роль, чем любовь к матери: таким событием было —знакомство с Белинским...

Вечный великий критик обратил на нашего поэта внимание, как на автора некоторых понравившихся ему рецензий, должно быть, еще 1842 году; но долгое время их встречи и беседы были мимолетны и незначительны. Некрасов уже давно преклонялся перед Белинским, но природная замкнутость и застенчивость мешали ему сделать первый шаг к более тесному сближению; он глядел на себя, как на скромного литературного работника, а Белинский был в это время уже в апогее своей славы и в „Отеч. Зап." занимал место главного редактора.

Сближение началось, кажется, лишь с осени 1844 г., когда Некрасов собирал материал для задуманного им в то время

литературного сборника „Физиологии Петербурга", для которого и Белинский, в числе других писателей, дал статью „Петербург и Москва". Между прочим, Белинского сильно заинтересовал (еще в рукописи) назначенный для этого сборника очерк самого Некрасова „Петербургские углы", один из лучших прозаических опытов поэта, посвященный жизни трущобных обитателей и написанный в духе и манере „натуральной школы". Интерес был тем сильнее, что до Белинского, конечно, дошли уже в это время слухи о лично пережитом Некрасовым периоде нищеты и голодовки, и в „Петербургских углах" он видел не столько художественное произведение, сколько глубоко выстраданную жизненную правду. „С этих пор,—рассказывает в своих воспоминаниях Ив. Панаев,—Некрасов с каждым днем более сходился с Белинским, рассказывал ему свои горькие литературные похождения, свои расчеты с редакторами различных журналов... Он произвел на Белинского с самого начала приятное впечатление: последний полюбил его за его резкий, несколько ожесточенный ум, за те страдания, которые он испытал так рано, добиваясь куска насущного хлеба, и за тот смелый, практический взгляд не по летам, который он вынес из своей тружеников и страдальческой жизни, в которому Белинский всегда чрезвычайно завидовал... Ни в ком из своих приятелей Белинский не находил ни маленького практического элемента и, прислушиваясь его в Некрасове, смотрел на него с каким-то особенным уважением". Белинский полагал, впрочем, что Некрасов навсегда останется полезным литературным тружеником—небольшие. Даже в следующем (45 г.), когда Некрасов напечатал уже во II части „Физиологии" свою сатиру в стихах „Чиновник", Белинский, осыпая ее в печати похвалами, как „одно из тех в высшей степени удачных произведений, в которых мысль, поражающая своей верностью и дельностью, является в совершенно соответствующей ей форме", ни одним еще словом не обмолвился о *поэтическом* таланте автора. И только позже, в „Обзоре русской литературы за 1845 г.", он называет „Чиновника", „Современ Оду" и „Старушке"*) „счастливыми вдохновениями таланта"... Но, кажется, перед этим Белинский прочел уже в рукописи стихотворение „В дороге", которое, по свидетельству Панаева, привело его в полный восторг: „У Бе-

*) Забытое в настоящее время стихотворение.

линского засверкали глаза, он бросился к Некрасову, обнял его и сказал чуть не со слезами на глазах: —Да знаете ли вы, что вы поэт—и поэт истинный?."

С этого момента, а особенно после знаменитой „Родины", Белинский начинает возлагать на Некрасова, как на поэта, большие надежды, и отношения его к автору оригинальных стихотворений принимают нежный, почти любовный оттенок...

Посмотрим же, чем был Белинский для Некрасова. „Он видел во мне,—вспоминал впоследствии сам поэт,—богато одаренную натуру, которой недостает развития и образования. И вот около этого-то держались его беседы со мною, имевшие для меня значение поучения." А каким обаянием веяло на Некрасова от личности Белинского, видно из рассказа Достоевского об его первом знакомстве с Некрасовым по поводу „Бедных Людей": „В полчаса мы Бог знает сколько переговорили, с полслова понимали друг друга, с восклицаниями, торопясь, говорили и о поэзии, и о Гоголе, цитируя из „Ревизора" и из „Мертвых душ", но главное—о Белинском. «Я ему сегодня же снесу вашу повесть, и вы увидите... Да ведь человек-то, человек-то какой! Вот вы познакомитесь, увидите, какая это душа!»—восторженно говорил Некрасов, трясь мною за плечи обеими руками...

— О знакомстве его с Белинским я мало знаю, но Белинский его угадал с самого начала и, может быть, сильно повлиял на настроение его поэзии. Несмотря на всю тогдашнюю молодость Некрасова и на разницу лет их, между ними, наверное, уж и тогда бывали такие минуты и уже сказаны были такие слова, которые влияют на век и связывают нерасторжимо». Или, вот, какой разговор Некрасова с Добролюбовым передает в своих воспоминаниях Панаева-Головачева:

Жаль, что вы сами не знали этого человека! Я с каждым годом все сильнее чувствую, как важна для меня потеря его. Я чаще стал видеть его во сне, и он живо рисуется перед моими глазами. Ясно припоминаю, как мы с ним вдвоем, часов до двух ночи, беседовали о литературе и о разных других предметах. После этого я всегда долго бродил по опустелым улицам в каком-то возбужденном настроении, столько было для меня нового в высказанных им мыслях. Вы, вот, вступили в литературу подготовленным, с твердыми принципами и ясными целями. А я?. Заняться своим образованием у меня не было времени, надо было думать о том, чтобы не умереть с голоду! Я попал в такой литературный кружок, в котором скорее можно было отупеть, чем развиться. Моя встреча с Белинским была для

меня спасением. Чтобы ему пожить подольше! Я был бы не тем человеком, каким теперь!- Некрасов произнес последнюю фразу дрожащим голосом, быстро встал и ушел в кабинет.

К воспоминаниям Панаевой во многих частностях позволительно относиться cum grano salis, но в данном случае показание ее нисколько не стоит в противоречии с отзывами самого Некрасова о Белинском, рассеянными во многих местах его стихотворений и поэм [1]). Не станем цитировать всем известную знаменитую тираду из „Медвежьей охоты", обращенную к „многострадальной тени" великого „учителя", научившего русское общество „мудрено мыслить". Но есть у Некрасова еще одно произведение, в главном герое которого изображен, думается всем, также Белинский: это—Крот во II части „Несчастных". Кто не замечает обыкновенно поразительного сходства этой фигуры с личностью Белинского, то, конечно, лишь благодаря Достоевскому, который пустил в обращение совсем иное толкование: „Однажды, в 63, кажется, году,—рассказывает он в „Дневнике Писателя",—отдавая мне тетрадь своих стихов, Некрасов указал мне на одно стихотворение „Несчастные" и внушительно сказал: я тут об вас думал, когда писал это (т.-е. об моей жизни в Сибири),—это об вас написано". На этом основании и сложилось распространенное до сих пор мнение, будто Крот Некрасова—Достоевский.. Но, во-первых,—и по рассказу самого Достоевского,—Некрасов отнюдь не сказал, что именно в образе Крота изобразил его: он только *вообще* думал о горькой судьбе Достоевского, сочиняя „Несчастных" (что и без его признания не подлежит, конечно, сомнению). Что касается Крота, то с автором „Записок из Мертвого Дома" в нем положительно нет ничего общего.

Напомним читателю, что „Несчастные" писались в 1856 г., задолго до возвращения Достоевского из Сибири, когда в литературе он был известен еще только как автор „Бедных Людей", „Двойника", „Хозяйки" и других рассказов, в которых о его будущем *учительстве* не было еще и помина. Личным

[1]) „Памяти приятеля" (1855 г.); „О погоде" (1859 г.); „Некрасов врет" (1856) „Медвежья Охота" (1867); „Кому на Руси жить хорошо" (1873) не вошедшая до сих пор в собрание стихотворений Некрасова поэма „Белинский". - На смертном уже одре, поэт не раз вспоминает своего учителя и записывает в дневнике от 15 июня 1877 г.: „Любимое стихотворение Белинского было —

В стране мирской печальной и безбрежной..."

из слоя *интеллигентов, вышедших* из-под народа, он, как никто, не внушил особенной любви членам кружка, в котором пришелся до конца креста, в том числе и Некрасову. Другое дело — Белинский...

Прежде всего — наружность последнего. Вот как описывает ее великий мастер такого рода описаний, Тургенев: „Это был человек среднего роста, на первый взгляд довольно некрасивый и даже несимпатичный, *лысоватый, с впалой грудью и покатой головой*... Всякого, кто не видал, поражали в нем *все главные признаки чахотки*, увы так хорошо известные этой злой болезни. . *Густые белокурые волосы падали клоком* на белый, прекрасный, хотя и нежный лоб. Я не видал глаз более прелестных, чем у Белинского. *Голубые, с золотыми искорками в глубине зрачков*, эти глаза, в обычное время полузакрытые ресницами, *расширялись и сверкали в минуты вдохновения*: в минуты веселости взгляд их принимал выражение шаловливой доброты и беспечного счастья. *Голос у Белинского был слаб*, хрипловат, но приятен; говорил он с особенными ударениями и *придыханиями*, „упорствуя, волнуясь и спеша"...

Не тот же ли это портрет, что и в изображении Некрасова:

Рука мозолиста в труде,
Как спицы ноги, детский голос
И свежо око, вспыльчивый волос
На голове и бороде

. . . . . .

Кричит, грозит! Дыханье трудно,
Лицо сурово как гроза,
И как то бешено и чудно
Блестят глубокие глаза.

Подобно Белинскому, и Крылов погибает от злой чахотки: „почти *два года*, из горьмы не выходя, он разрушался"... Это внешние черты сходства, но внутреннее еще поразительнее.

Была речь его была сурова
И не блистала красотой
Но обладал он тайной слова,
Доступною душе живой

. . . . . .

Он нас учить не тяготился,
Он с нами братски подружился
Богатством сердца своего!

. . . . . .

Не за кем, не за себя

Провел он свой недолгий век,
В кругу ученых, но душою,
Как мы, был русский человек.
Он не делил, что мы не немцы,
Он говорил: „По многом нас
Опередили иноземцы,
Но мы догоним в добрый час!
Лишь Бог помог бы русской груди
Вздохнуть поровнее, и вольней,
Покажет Русь, что есть в ней люди,
И есть грядущее у ней!

Разве это не „Великий". Далее одним и тем же выражением „святое беспокойство" характеризует Некрасов своего Крота в „Несчастных", каким в „Медвежьей Охоте"—Белинского. Литературные и исторические пристрастия обоих точно такие одинаковые: „вещие песни" Кольцова, великие деяния великого Петра, „отца России новой"...

Он видел сам руки Петровой
В основе каждого добра.

Но особенно ярко бросается в глаза сходство Крота с Белинским в изображении его конца:

Но он надежде варил мало,
Едва борода, едва дыша,
И только нас бояться хватало
В нем сил... Великая душа!
Его страдания были горды,
Он их упорно подавлял,
Но изредка изнемогал
И плакал, плакал... Камни тверды
Любой попробуй... Но слеза
Добудешь только из кремня!
Таков он был...
В день смерти с ложа он воспрянул.
И снова силу обрела
Нежная грудь и голос грянул!
Мечтаньем чудным окрылил
Его Господь перед кончиной,
И он под небо воспарил
В красе и легкости орлиной.
Кричал он радостно: „Вперед!"—
И горд, и весел, и доволен...
Ему рукоплещет народ
И звон московских колоколен;
Восторгом взор его сиял,
На площади, среди народа,
Ему казалось, он стоял
И говорил...

Ведь это именно реальное, яркое изображение предсмертных минут Белинского! „Присутствовавшие при его смерти рассказывали,—пишет г. Пыпин в своем известном сочинении „Белинский, его жизнь и переписка",—что Белинский, лежавший уже в постели без сознания, за несколько минут до кончины вдруг быстро поднялся с очевидными силами, сделал несколько шагов по комнате и произнес невнятным, прерывающимся голосом, но с энергией, какие-то слова, обращенные к русскому народу, что-то вроде слов о любви к нему... Его поддержали, уложили в постель, и через несколько минут он умер".

Однако, быть может, спросят: что за странная фантазия пришла Некрасову в голову—послать Белинского в каторгу, изобразить на мрачном фоне кошмарного острожного мира, когда всем известно, что умер он у себя в постели, в Петербурге, окруженный близкими, женою и друзьями?.. Да, но известно также и другое: Достоевский, арестованный одиннадцать месяцев спустя, осужден был в каторгу, главным образом, за чтение и распространение письма Белинского к Гоголю... Следовательно думать о великом покойном учителе во время писания „Несчастных" Некрасову представлялось, во всяком случае, не меньше поводов, чем о Достоевском...

„Я находился в таком литературном кружке, в котором скорее можно было отупеть, чем развиться: встреча с Белинским была для меня спасением". Это признание поэта подтверждается, как данными его биографии и свидетельствами современников, так, в особенности, и всем ходом и развитием его поэтической деятельности. Гуманная школа Белинского наложила на мысль и душу поэта глубокий отпечаток. К 48 году (году смерти Белинского) окончательно определился тот действительный „демон" Некрасова, который всегда господствовал как в жизненной его деятельности, так и в поэтических настроениях. Можно сказать, что до встречи с великим учителем он лишь инстинктом любил народ, инстинктом стремился для него работать, как человек, сам много страдавший и видевший, как человек, прирожденно изучивший и сумевший понять душу народную со всеми ее темными и светлыми сторонами; но интеллектуальную формулу этой любви и толчек к активной работе во имя ее—Некрасов получил, несомненно, от Белинского. Идеи великого критика упали на богатую почву высокоодаренной натуры поэта, обладавшего—преимущественно перед всеми членами кружка—глубоким

знанием и пониманием народной жизни, и дал роскошный плод в виде не одной только поэзии: в журнальной деятельности Некрасова, сыгравшей, по мнению критики, ничуть не меньшую роль в истории русской интеллигенции, чем его стихи, точно также явственно видел могучий дух „костлявого Власа-риона"...

К сожалению, — потому ли, что благотворное влияние пришло несколько поздно и оборвалось слишком рано, потому ли, что сложная природа Некрасова не поддавалась одной какой-либо определенной окраске, — он навсегда остался во власти глубоких противоречий, от которых сам, разумеется, прежде всего и больше всего страдал.

Не мне тебя постигших вычислений
Назвать печальный след...

Идеалист, преданный, как никто другой, делу служения родине и народу, он всю жизнь оставался рабом среды и привычек, любил жизнь ради самой жизни и дорожил ее „минутными благами". Конечно и во времена Некрасова встречались рыцари без страха и упрека, подобные Болинскому или, позже, Добролюбову, но это были люди — в подлинном смысле слова „не от мира сего", с юных лет порвавшие с грубой материальной „существенностью" и витавшие в светлой области идеала. Из всех сверстников своих и соратников Некрасов по преимуществу был человеком живой действительности, и больше, чем кого другого, его можно рассматривать и судить вне, так сказать, времени и пространства. „Мы выросли в сыновых рукавицах", выразился Г. З. Елисеев о своем и некрасовском поколении, и сыновьям позднейшей эпохи грешно было бы не принять в расчет этого обстоятельства при оценке работы своих предшественников. Крепостное право бросало свою мрачную тень на все решительно явления дореформенной жизни; в душной атмосфере вечного страха, унижения и рабской подавленности росли, жили и действовали целые поколения

Недолгая нас буря укрепляет,
Хоть ею мы мгновенно сожжены,
Но долгая нужда нас делает
В сухие привычки рок и ты!..

Геройство всегда было и будет завидной долей лишь отдельных единиц. Некрасов не мог претендовать, да никогда и не претендовал на титул героя: напротив, он всегда усиленно

ленно казнил себя за душевную эрелость, усиленно подчеркивал недостатки своей, как гражданина.

Народ! народ! Мне не дано геройства
Служить тебе,—охоты к гражданам.

Повинную голову и меч не сечет... На голову же Некрасова сыпались- и до сих пор продолжают сыпаться бесконечные обвинения, иногда до довольно-таки курьезных. Он жил приблизительно так же, в той же обстановке и с теми же барскими замашками, как и очень многие из его товарищей по профессии, и к Тургеневу, например, никто не предъявляет обвинения в том, что он любил комфорт, не считал сам себе слугою и не ходил за сохою, как Лев Толстой позднейших лет. Но то, что прощается большинству, Некрасову, оплакивавшему народную нищету и горе, вменяется в преступление. „Есть неумолимые, которые не прощают и непременно желают *разведчать* Некрасова. Должно быть, их собственная совесть чиста, как зеркало, в которое они могут спокойно любоваться на свои добродетели и гражданские подвиги. Должно быть, их головы увенчаны бессмертными лаврами" (И. У. Михайловский, „Литературные воспоминания", т. I). Но вступая с подобными господами в спор относительно отношения читателя к статье, из которой взята только что приведенная цитата: более глубокого и тонкого проникновения в сложную природу души Некрасова в русской литературе нет. Нам хотелось бы только прибавить кое-что по поводу „тени, которая четверть века назад (а теперь уже сорок лет назад) пала на личность поэта и загуманила ее в глазах самых горячих поклонников".

Дело происходило, как известно, в 1866 году, когда после выстрела Каракозова над „Современником" и даже,— думалось тогда многим,—над всей русской литературой нависла грозная туча. Людям нашего поколения трудно и представить себе ту мрачную полосу панического страха, которая, по единогласному свидетельству современников, охватила в те дни даже нервные сердца и недюжинные умы; „sauve qui peut"—было общим кличем. К сожалению, многие любопытные и поучительные подробности тех событий еще не преданы печати... В этот-то момент всеобщей растерянности и заботы о спасении дрогнул и Некрасов.—и рука его „невольно у лица издала неверный звук": на публичном обеде, который петербургское дворянство давало тогдашнему властителю

судеб русского общества — графу М. Муравьеву-„Вешателю“ Некрасов прочел свои, приноровленные к этому торжественному случаю, стихи. Рассказывали, будто, выслушав их, Муравьев от чтеца отвернулся... В этом случае, если Некрасов рассчитывал подобной жертвой отвести грозу от своего „Современника“, то он горько ошибся: журнал был вскоре закрыт. Опасность оказалась, однако, не столь грозной, как ее рисовало испуганное воображение: „вся литература“ не погибла; первый пароксизм испуга прошел, и поэту пришлось по капле испить всю чашу горечи — злорадство врагов, укоры друзей и собственной совести.

И вы, и вы, отвергнувшие в смущенье,
Спасенье бесполезно вдруг моей,
Поймете ль вражду к самому себе,
О чьей судьбе так горько я грущу,
На чьих руках и проклятья и слезы
И клятвы чести грозно контрят.

В бумагах Н. К. Михайловского сохранилась в высшей степени характерная и любопытная записка Г. З. Елисеева, имеющая форму ответа на письмо Худякова, горячего когда-то поклонника Некрасова, осужденного по делу Каракозова и из глубины восточной Сибири славшего поэту горькие и даже жестокие упреки за „неверный звук лиры“. Письмо это получено было Елисеевым или, быть может, самим Некрасовым еще в конце 60-х или начале 70-х годов, защитительная же записка Елисеева относится, по всей вероятности, к концу 80-х годов, когда Худякова давно уже не было на свете. Приводим ее здесь целиком*).

„Нам понятно то глубокое негодование, которое кипело в груди автора каждый раз при мысли, что Некрасов говорил в клубе стихи в честь М., в которых призывал карающую руку... Понятно потому, что, может быть, первые чувства гражданской доблести в Х. были пробуждены в восторги музою Некрасова, и вот теперь... от сей самой музы вместо утешения и благословения проклятие! Тем не менее, такое отношение автора к [illegible] мы [illegible] находим крайне несправедливым и жестоким. Известно, что в том мраке... ни одна публичная мысль, ни

*) Когда в конце 1902 года я впервые печатал в своей статье о Некрасове эту записку, цензурные условия „режима Нивы“ заставили меня выбросить из нее не только строк и оставить некоторые отдельные слова и выражения, где и то покойный Н. К. Михайловский боялся, что цензор ее не пропустит. В настоящее время у меня нет, к сожалению, в руках подлинной записки Елисеева. П. Я.

мысль, ни одно публичное слово, а тем более дело не могли явиться без компромиссов. А у Некрасова на руках было большое публичное дело, зело расширенное и упрочённое за прессою свободного слова, с целью дать возможно широкое распространение в обществе новой идее. Из всех писателей 40-х годов Некрасов один с самого первого появления этой идеи предался ей вполне и сделался неизменным ее поборником и служителем и остался таким до конца жизни. На это посвятил он весь свой громадный талант, действуя как поэт и как журналист. Теперь даже трудно определить, чем он более принес пользы: своими ли поэтическими произведениями, или своей журнальной деятельностью. В то время, когда стихи его рассеивали вокруг „святое недовольство" и возбуждали в молодых умах горячие порывы к обновлению, журнал указывал ближайшие цели и те пути, которыми нужно было идти для его потребления, и где, и в чем искать нового дела; около журнала группировались верные борцы за новую идею, делавшие всегда первый смелый шаг вперед. Недаром „Современник" сделался любимейшим журналом публики и в особенности молодежи; недаром ни на один журнал не сыпалось столько обвинений и тайных доносов со стороны ретроградов и столько гонений и притеснений со стороны цензуры, как на „Современник". С назначением Муравьева все ставилось на карту. Перед чем мог остановиться, чего не мог сделать этот человек, который никогда осмеливался не являться во дворец, несмотря на неоднократные требования, отзываясь делами и недосугом?*). И вот, для уничтожения этого человека, способного и готового уничтожить всю новую литературу и остановить движение новой идеи на несколько десятков лет, Некрасов принес в жертву свое самолюбие, написав в его честь и прочитав публично в клубе стихотворение. Говорят: Некрасов все-таки не спас этим „Современника"... Но те, которые говорят так, забывают, что дело шло не о спасении одного „Современника", а о сохранении возможности существования новой идеи, о предупреждении гонения на литературу, как на литературу только... Законность и необходимость принесенной Некрасовым жертвы, наверное, будет выяснена для всех историей нашего времени. К сожалению, Не-

*) По другим сведениям, император Александр II не любил Муравьева, и, благодаря только этому, последний не мог дать полную волю своим реакционным стремлениям. Н. Я.

красов был не настолько велик, чтобы, сознавая необходимость своего поступка, оставаться равнодушным к близоруким толкам современной толпы о своем поступке. Толки эти мучили его всю жизнь. Всем известно написанное им в 1866 же году прекрасное стихотворение «Лукит враг, молчит в недоумении внезапный друг, качая головой», где он изображает себя отталкнутым от всех, к кому лежали его симпатии, и поплывшим через свое (глубокое) стихотворение в дружбу к толпе *безличных*, которые „спешат в объятья к новому рабу и приветствуют жирным поцелуем несчастного к позорному столбу". Сокрушение о своем поступке Некрасов высказывал и впоследствии в нескольких стихотворениях и лично говорил о нем всем симпатизирующим ему лицам, стараясь оправдать его или объяснить необходимостью тогдашних обстоятельств. Даже перед смертью, мучимый страшною болезнью, едва дышавший и говоривший, он не переставал приносить покаяние... Так давила и мучила его жертва, принесенная им в пользу своего великого дела.

„Но что руководило Некрасовым при его поступке: мысль о деле, которому он служил, или о тех личных выгодах, которые были сопряжены с этим делом? И если последнее, то не заслуживает ли его поступок справедливого порицания, и не были ли те страдания, которые он испытал за него, вполне заслуженной карой? На этот вопрос можно отвечать другим вопросом. Мог ли бы Некрасов иметь столько врагов, сколько он их имел, если бы стал петь другие песни и служить другому противоположному делу? Наглядное, блестательное доказательство того, как перемена идейного фронта может обогатить и возвеличить даже и не такого таланта, как Некрасов, но бойкого и ловкого литератора, каждый может видеть на примере Суворина. Этот робкий чиж скромно чирикал свои либеральные фельетоны у Корша, завидуя славе и блеску такого сокола соловья, как Катков. Но в ру него родилось желание направить свое чиликанье по силу „сильных и сытых мира сего". Он попробовал—и на него полились деньги и слава. Он теперь признан политическим мудрецом...

„Чего же бы, каких почестей и какого богатства не достиг Некрасов, при его громадном уме и таланте, если бы захотел хотя бы несколько умерить свое направление? Но он не пошел этой дорогой. А не пошел потому, что не мог петь фальшиво; это не был скворец, научившийся петь по-соловьиному, или чижик,

робно чарующей теплоте песни, — действительно с голосом, который мог петь только своим голосом и петь то, что хотело его за живое. Талант Некрасова был вполне самобытный, соединенный с замечательною силою и крепостью ума. Некрасов вообще почти не воспитывался — он не окончил курса даже гимназии, — не мог читать ни на одном иностранном языке, а между тем критический ум его был так силен, что никто лучше его не мог оценить значения каждой новой мысли, явившейся в литературе по наукам социальным; при этом равно тонко было и его эстетическое чутье, так, что можно смело сказать, что он был лучшим критиком для всех статей, которые помещались в его журнале. Это самое критическое чутье давало ему возможность замечать каждое выдающееся дарование, появлявшееся в других журналах, и переманивать его в сотрудники своего издания, что он и делал. Но еще более верно это критическое чутье руководило им в области явлений мира политического. Вследствие, что при самом первом появлении новых веяний, потрясших в обществе вскоре после Крымской войны, Некрасов тотчас понял новое положение вещей, круто порвал с своими сверстниками — литературными деятелями 40-х годов, набрал себе новых сотрудников по журналу и стал во главе нового литературного движения. До какой степени это характеризует не только тонкость критического чутья Некрасова, но и симпатию его к новой крови, это мы можем видеть из примера многих его современников; как-то — Писемского, Достоевского, самого Тургенева, который, несмотря на свою замечательную чуткость ко всем новым веяниям, безтактно выступил в то время на борьбу с новой идеей в своих „Отцах и Детях". Все это показывает, насколько был проницателен и тверд ум Некрасова в распознавании и оценке проходящих перед ним явлений и веяний политического мира. Он ясно понимал ветошь и нищенскость дореформенного строя, видел невозможность его долгого существования, и не мог не быть борцом за новую идею. Только во имя ее он мог слагать свои песни, только ее дело он мог нести так усердно всю жизнь, как он его нес. Правда, он не был теоретиком, у него не было предвзятого определенного мировоззерцания, но он, наверное, пошел бы за новою идеею до тех пор, пока она не создала бы лучшего строя жизни, полного всего для разумного человеческого существования. Теряя все, что, сдается же, никак не думал возродить Некрасов в том смысле,

как обыкновенно понимают это слово*). Некрасов не пошел бы на смерть, на страдания за дело новой идеи, которое он нес на себе: мы не должны забывать, что он воспитан был в ежевых рукавицах дореформенной эпохи. Это был, если угодно, герой, но герой-раб, который поставил себе целью добиться во что бы то ни стало свободы, упорно преследует эту цель—по временам, применяясь к обстоятельствам, делает уступки, но на своем главном пути постоянно держится и уже понимает, что таким только образом он может ее добиться, а, кроме того, понимает, что в той среде, которая его окружает, не найдется таких людей, как он: хотя, быть может, есть немало лиц, не тронутых новой идеей, которые гораздо выше, т. е. самостоятельнее и чище, лиц, которые готовы пожертвовать за нее жизнью, но не найдется таких героев-рабов, которые бы так упорно шли в течение десятков лет, шаг за шагом, по тому тернистому пути, по которому идет он, подвергаясь изо дня в день разным мелким мучениям и переносясь сделок со своей совестью. Герой-раб мог признаваться, что его рука иногда „у лиры звук неверный исторгала", что „жизнь любя, к ее минутным благам прикован он привычкой и средой", что он „к цели шел колеблющимся шагом и для нее не жертвовал собой." Но действительный герой не мог действовать в то время на журнальном поприще. Мы, однако, не должны забывать, что каждый герой должен оцениваться по условиям времени и целям. Для каждого времени является свой *муж потребен*. Герой тот, кто понял условия битвы и выиграл победу. Хорош и тот герой, который умирает за свое дело, так сказать, мгновенно, всенародно, публично, запечатлевая перед всеми своею смертью свои убеждения; хорош и другого рода герой, герой-раб, который умирает за свое дело в течение десятков лет, умирает, так сказать, по частям, медленною смертью в ежедневных мелких пытках от внешних мелких гонений и стеснений, от сделок с своею совестью, умирает никем не признанный в своем геройстве и даже под общим тяжелым обвинением или подозрением от толпы в измене делу. По условиям нашей жизни, у нас мог выработаться в литературе только герой раб. Скажем более: только такой герой и мог вынести дело новой идеи при первом

*) Все дальнейшее, кроме двух-трех заключительных фраз, было уже далее цитировано Н. К. Михайловским в его статье о Некрасове.

...появлении и утверждении в обществе... Покойный Х. не понял, что герой-раб позволил своей руке „у лиры звук неверный и порвать" единственно для того, чтобы уровнять и сделать легкое тернистым путь для героев иного типа, героев будущего".

Повторяем, для людей нынешнего поколения, выросших в совсем иной общественной атмосфере, покажутся, наверное, странными некоторые из мыслей Елисеева. Но ведь он сам же и оговорился, что рисует образ хотя и героя, но — „героя-раба"... Отлично, разумеется, понимал Елисеев все нравственное превосходство героя — свободного человека: но было бы несправедливо отрицать своеобразное „величие" в той спокойной твердости, с которою он громко признается: „да, наше поколение шло рабьей дорогой к своей великой цели,—потому, что иной дороги мы не видели".

И Елисеев, этот «аскет текущей жизни и непосредственных практических результатов» (как определяет его Н. К. Михайловский), человек с исключительной идейной и духовной целью стью, был вполне последователен в применении своих теоретических взглядов к жизни. Оставляя в стороне оценку этих взглядов самих по себе, мы хотели бы только выяснить вопрос о том, насколько нарисованный Елисеевым образ „героя раба", действительно, подходил к Некрасову. Было ли, точно, сознательным жертвоприношением извлечение его в 1866 году? Михайловский, говоря о записке Елисеева, осторожно замечает: «Я не иду так далеко, я думаю, что Некрасов тогда просто растерялся, испуганный надвигавшейся грозой, тем более страшной, что неизвестно было, как и куда она направит свои удары. Испугался он, может быть, частью за журнал, но главным образом, я думаю, за себя лично".

Не решаясь, в свою очередь, идти „так далеко", мы думаем только, что для самого Некрасова в момент опасности могли быть не вполне ясны руководившие им мотивы. Во всяком случае, апология поэта, написанная Елисеевым, кажется нам чрезвычайно важной не по одним лишь крайне интересным подробностям, но и по существу, как голос не адвоката только, но и свидетеля, человека, который сам, подобно Некрасову (хотя и в значительно меньшей степени), „прошел через цензуру незабвенных годов". Из всех сотрудников и единомышленников Некрасова Елисеев (который и родился даже в одном с ним 1821 году), конечно, наиболее походил на него по тесному, кровному соприкосновению живой действительностью, так что, выслушивая Елисеева, мы

выслушиваем отчасти как бы самого поэта... Упомянув о предсмертных попытках Некрасова высказаться, Н. К. Михайловский особенно подчеркивает то обстоятельство, что оправдательно-покаянные речи поэта имели „затрудненный" характер, —как будто он „не мог ни другим рассказать, ни самому себе уяснить ту смесь добра и зла", из которой состояла его жизнь и деятельность. Но не могла ли завязать эта „затрудненность отчасти и оттого, что Некрасов своим тонким, проницательным чутьем угадывал огромное психическое различие между собою и младшими своими сотрудниками, вроде самого Михайловского? Не боялся ли он, что при всем уважении и любви к нему людей младшего поколения, в некоторых вещах они никогда с ним не столкуются и не поймут его, а если и поймут, то не посочувствуют? Этот страх и мог сковывать его язык, холодить его душу. С Елисеевым он чувствовал себя, вероятно, проще и высказывался прямее...

Но, имея так много общего друг с другом, эти два человека в некоторых отношениях были глубоко различны. Елисеев рисуется нам натурой цельной, как бы высеченной из одного куска; Н. К. Михайловский характеризует его так: „демократизм Елисеева был не делом только принципов и убеждений, а самих виятников", он был „как бы сам народ, собственными усилиями пробившийся к свету и достигший верхов самосознания"; он „проще и непосредственнее относился поэтому к народу" („Литер. воспл. и соврем. смута", т. I). Некрасов же, при всей глубине и искренности своей любви к народу, при всем несравненном знании народной жизни и психики, лишен был такой непосредственности. Елисеев всегда чувствовал себя равноправным членом того народа, для которого всю жизнь работал; Некрасов никогда, в сущности, не переставал чувствовать себя барином-интеллигентом, находящемся в неоплатном долгу перед народом...

Эта черта, которую Успенский назвал „больной совестью", более приближала Некрасова к поколению младшему, нежели старшему. Герой-раб, не чуждый порой самой трезвой и даже черствой положительности, умел в то же время до страсти, до злобы ненавидеть эту свою положительность, и более „тяжкой работы совести", чем его скорбно-покаянные песни, вплоть до 70-х годов русская литература не знала. В глазах юных современников Некрасова покаянная нота его поэзии была не недостатком „величия" в характере поэта, а, напротив, луч-

нем правом его на бессмертие. К сожалению, выяснить все огромное значение „музы мести и печали" для сухой жизни русской сможет лишь более или менее отдаленная история; она же произнесет и окончательный приговор Некрасову, как человеку и гражданину.

V.

Поэт находит свое призвание.

Как мы уже видели при разборе книжки „Мечты и звуки", свою литературную деятельность Некрасов начал в тоне вполне серьезном, далеком от шутки и юмора. Исключение составляет одна только юмористическая пьеса „Пир ведьмы".

Скачет ведьма на ухвате,
Едет черт на помеле..

Затем со времени фиаско, постигшего этот первый сборник, Некрасов в продолжении целых пяти лет не напечатал,—насколько нам известно,—ни одного серьезного лирического стихотворения, и хотя стихов продолжал писать и печатать множество, но все это были—шутки, народни, обличительные куплеты. Мы уже пытались об'яснить настроение поэта, обусловившее подобный характер его творчества за указанный период. Нельзя отрицать, что эти сатирические опыты юного Некрасова отличались временами неподдельным остроумием; в них встречались едкие выходки, самый стих был легок и своеобразен. Вот, например, два маленьких отрывка из „Портретной галереи", впоследствии забракованной автором и преданной забвению:

I.

Он у нас особое чудо—
У него завидный нрав,
Молодчина, как Иуда,
Храбр и честен, как Фальстаф.
Он с татариной—татарин,
Он с евреем сам еврей,
Он с лакеем—важный барин
С важным барином—лакей!

II.

Было года мне четыре,
Как отец сказал:
„Вздор дитя мое, все в мире".
Дело—капитал".
И совет его премудрый
Не остался тих:
У родителя на утро
Я украл пятак..

Большой фельетон в стихах „Говоруны",—эта пустейшая болтовня пустейшего героя обо всем, что только взбредет в го-

лову,—читается также без скуки, даже, пожалуй, с некоторым удовольствием; местами невольно думаешь: „сколько труда и искусства потрачено на подобный вздор!“ Однако Некрасову случалось уже касаться и более серьезных тем. Заслуживает, например, внимания сатира „Женщина, каких много“.

Она росла среди перин, подушек,
Дворовых девок, мамушек, старушек,
Подобострастных, битых и босых...
Ее подлаживали с уваженьем,
Ей пели колыбельную с восхищеньем.
В избытке чувств почтительно-немых...
Сложилась барышня, потом созрела
И стала на свободе жить без дела,
Невыразимо презирая свет.
Она слыла девицей идеальной,
Имела взгляд глубокий и печальный,
Сидела под окошком по ночам
И на луну глядела неотвязно...
Вздыхала лихорадочно-несвязно,
Торжественно молчала по часам,..

. . . . . .

И вдруг попала за барина простого,
За русака добрейшего, степного!

. . . . . .

На мужа негодуя благородно,
Ему детей рожала ежегодно
И двойней разрешилась, наконец.
И чувствительная Текла
Своих людей не без отрады секла:
Играла в дурачки до петухов.
[illegible] та скотиной,—
И было в ней пятьсот ее кончиной
Без малого четырнадцать пудов.

Перед читателем—характерный тип провинциальной барыни крепостной эпохи; в этом портрете каждый штрих дышет жизнью и правдой, и только заключительный, явно утрированный стих, пожалуй, неприятно режет ухо. К сожалению, приходится сказать, что такого рода шарж не есть случайное явление в юношеских сатирах Некрасова, и например, в упомянутом выше стихотворении „Было года мне четыре“ он принимает даже прямо чудовищные размеры. У героя пьесы умирает отец:

Я не вынес тяжкой раны,
Я на труп упал
И, обшарив все карманы,
Горько зарыдал,—

зарыдал не об утрате отца, а о том, что карманы его оказались пусты..

Не этими, однако, частными недостатками обусловливалось ничтожное значение некрасовской сатиры раннего периода. Важнее было то, что для читателя оставалось все время неясным, во имя какой общей идеи осуждает и выручивает он людские слабости и пороки. Это было именно только вышучивание, а не грозная, бичующая сатира, одушевленная (как, напр., позже в «Размышлениях у парадного подъезда») чувством гражданского негодования, согретая искренней скорбью о торжестве зла и неправды. Такой сатиры мы не видим даже и в столь восхитившем в свое время Белинского „Чиновнике“ или в „Современной оде“, которою открывается обыкновенно собрание некрасовских стихотворений... Пьесы это, несомненно, талантливые; в общей концепции их видна уже рука искусного мастера; отдельные стихи поражают силой, оригинальностью и легко остаются в памяти, но, и за всем тем, „Чиновник“ и „Современная ода“ не сатиры в настоящем значении слова, лишь хорошие обличительные стихотворения: в них нет еще главного—поэзии...

Погоня за насущным куском хлеба, спешность работы, привычка глядеть на себя, как на литературного чернорабочего, с которого и спрашивать много нечего, низводят в эту пору Некрасова, при всем его таланте, до уровня писателя-ремесленника, который унижался до таких, например, „пародий“:

И скучно, и грустно!.. И некого в карты надуть
В минуту карманной невзгоды
Жена?.. Но что пользы жену обмануть—
Ведь ей же отдашь на расходы.

Но уже близился глубокий внутренний перелом. К середине 40-х годов Некрасов перестал терпеть острую, доходившую до нищеты, нужду; у него составилось некоторое литературное имя,—теперь легче было доставать работу, легче было и бороться с кулаками-редакторами и издателями. Явился сравнительный досуг, и с ним—возможность серьезно думать и работать. В этот-то благоприятный момент Некрасов и сблизился с Белинским, услышал его страстную, полную зажигающего убеждения, проповедь... Общая идея, по которой все время тосковала душа будущего печальника горя народного, и отсутствие которой так плачевно отзывалось на его произведениях, была, наконец, отыскана, формулирована. Горячим солнечным лучем упала она в дре-

мавшую душу поэта, согрела и разбудила к жизни могучие природные силы. Некрасов нашел, наконец, свое призвание, свою музу, ту „бледную, в крови, кнутом иссеченную музу", на которую, по его собственному выражению, „не русский взглянет без любви"... Появилось знаменитое стихотворение „В дороге", нечто неслыханное до тех пор как по форме, так и по содержанию.

Начало народнической струи в русской литературе принято обыкновенно связывать с „Деревней" и „Антоном Горемыкой" Григоровича, но с неравненно большим правом могло бы претендовать на такую роль стихотворение Некрасова, раньше напечатанное и, к тому же, гораздо ярче выразившее новую идею. Известный критик Аполлон Григорьевич, очень долго отрицавший в Некрасове всякий поэтический талант, признавался впоследствии, что пьеса „В дороге" *ударила по сердцам с неведомою силой*... По его словам, она сосредоточила в одну поэтическую форму целую эпоху прошедшего, забросила сети и в будущее; в ней не подделка под народную речь, а речь человека из народа, с народным сердцем, сказала Кольцова. Даже враждебный Некрасову Эдельсон, видевший, наоборот, в этом стихотворении фальшивую народную речь, признавал нарисованное Некрасовым положение трогательным и вызывающим сильное впечатление, „гуманное по своей сущности". Мнение Белинского мы уже знаем. Но если так встречено было стихотворение Некрасова литературной критикой, то читателями середины сороковых годов оно принято было, как настоящее откровение... И удивительного тут ничего нет, если и теперь даже, когда мрачная эпоха рабства отошла в область предания, и русским обществом так уже много пережито, „В дороге" все еще производит неотразимо-глубокое впечатление. Очевидно, поэту удалось затронуть живой, до сих пор еще болезненный нерв... То новое, чем было поражено здесь воображение общества, заключалось не только в изображении новой (крестьянской) среды, не только в мысли о том, что и мужики те же люди с живой, способной страдать от притеснений душою: рядом с картиною огромного общественного зла, перед читателем приоткрывался душевный мир интеллигентного человека, который чувствовал себя к этому злу прикосновенным.

— Скучно! Скучно!.. Ямщик удалой,
Разгони чем-нибудь мою скуку.
Песню, что ли, приятель, запой
Про рекрутский набор и разлуку, —

уже этот начальный аккорд, сразу дававший почувствовать, что проезжего барина грызет не простая скука, а — тоска, ищущая отрады в сближении с народным горем, должен был электрическим током проходить по душе современного читателя.

— Ну, довольно, ямщик, разошлась
Ты мою неотвязную скуку!—

саркастически прерывает барин грустный рассказ ямщика,— и как много сказано в этих двух коротеньких желчных строчках, заканчивающих пьесу! Несколько ниже, в стихотворении „В деревне" у Некрасова прорывается та же горестная нота:

Плачет старуха... *А мне что за дело!*
Что и жалеть, коли нечем помочь?

За видимой злостью слышится здесь тот же стон человека, силящегося заглушить червяка неспокойной совести: это как бы первый намек на то великое душевное смятение,—„больную совесть кающегося дворянина",—которое с такой яркостью и силой выражено было во многих позднейших стихотворениях Некрасова.

Новое настроение, охватившее нашего поэта, не было чем-то случайным, мимолетным: почти одновременно с пьесой „В дороге", в промежуток каких-нибудь полутора лет (1845—1846), им было написано более десятка замечательных, проникнутых одним и тем же духом, стихотворений, в миниатюре отражавших как бы всю некрасовскую поэзию, намечавших почти все главные мотивы, подробно развитые и разработанные поэтом впоследствии[1].

В „Тройке", „Огороднике", „Псовой охоте" и „Родине" перед нами проходят яркие картины жизни деревенской крепостной России. Героиня „Тройки", в сущности, та же Груша („В дороге"); в судьбе этих двух молодых женщин, также как и в несчастном романе огородника, поэт раскрывает все безобразие рабьих понятий о белой и черной кости, разделенных непроходимой пропастью сословных предрассудков. Живой человеческой души, по этим понятиям, нет; без жалости и пощады приносится она в жертву интересам кастовой выгоды и так называемой чести. Мрачное, злобное мировоззрение, отравляю-

[1]) „Тройка", „Огородник", „Псовая охота", „Родина", „В некрасовской глуши", „Пьяница", „Отрадно видеть", „Старушке", „Когда из мрака заблужденья", „Перед дождем", „Секрет".

щее кругом себя атмосферу и развращающее мысль и чувство всех, кто приходит с ним в соприкосновение,—одинаково раба и рабовладельца!

Но уже в эту раннюю пору, когда Некрасов вперые отдался захватившей его волне новых мыслей и чувств, вопрос обновления „старого мира" представлялся ему в очень широких рамках; он видел зло не в одном только крепостном праве и являлся защитником отнюдь не одного крестьянского сословия, а всех оскорбленных, всех обездоленных.

Стараясь злобой тайной...
На скудный твой народ
С наглецой не случайной
Все, кажется, глядят.
Все, что во сне мерещится,
Как будто бы на зло
В глаза вот так и мечется.
Рассеянно и светло!
Все повод к искушению.

Все кричит и лжет
И руку к преступлению
Нетвердую ведет.
Ах! если б тень пятнадцую
Старушку подстеречь...
Но мгла отводит чёрная
Повернуть беглянку...
Одна открыта горница
Дорога к кабаку!

Так рисует поэт в стихотворении „Пьяница" душевное состояние бедняка, озлобленного зрелищем несправедливых общественных контрастов. Как и в другом стихотворении того же периода—„Отрадно видеть, что находит порой хандра и на глупца", мы впервые встречаем здесь характерную и оригинальную ноту некрасовской поэзии, ноту злобы, той „злобы тайной", которая терзает сердце приниженного человека, составляя мучительную отраду его беспросветного существования.

Облик „немасковой и нелюбимой музы", „печальной спутницы печальных бедняков, рожденных для труда, страданья и скуки", вырисовывается перед нами уже в ряде определенных, своеобразных очертаний.

Со всей силой возмущенного чувства протестует поэт против „бессмысленного мнения" толпы, „пустой и лживой", бессильно стонущей в тисках нужды и горя и в то же время готовой клеймить презрением всякого, кто в жизненной борьбе является не палачом, а жертвой. Стихотворение „Когда из мрака заблужденья" (даже на взгляд враждебных Некрасову критиков —„превосходное") было чуть ли не первой в русской литературе реабилитацией падшей под гнетом нищеты и несчастия женщины. Приблизительно в то же время написано и одобренное Белинским стихотворение „Старушке", направленное вообще против „нравственного вздора" отупляющих общество условий и предрассудков,

имеющих у него долю возможного счастья. Пьеса не была, однако, включена автором ни в одно издание стихотворений, да и в журнале появилась не за полной подписью. Причина понятна: в смысле обработки она оставляет желать очень многого*). Объясняется это, конечно, тем, что тема стихотворения, хотя и вполне реальная, не была подсказана Некрасову личными переживаниями: ведь поэту было всего 23 года... Могучий лиризм Некрасова — и он сам прекрасно чувствовал это — получал настоящий размах лишь в тех случаях, когда вдохновлялся живой, конкретной действительностью.

Таково оригинальное и сложное содержание стихотворений, появившихся в 1845—46 году и, несомненно, глубоко поразивших современного читателя. Очевидно, новые мысли и чувства бурей прошли по душе поэта, заставив зазвучать сразу все ее струны...

Ощутив и сознав кровную связь с родным народом, Некрасов сразу нашел все нужные краски и для изображения родной природы. Как пейзажист, уже в 1846 году он является перед нами с своей особенной, ни на кого другого не похожей манерой.

Сторож вкруг дома господского ходит
Злобно зевает и в доску колотит.
Мраком задернуты небо и даль,
Ветер осенний наводит печаль;
По небу тучи *угрюмые* гонит,
По полю *лаптем* — и жалобно стонет...
Стало светать . . . . . .
Чудная даль открывается взору:
Речка внизу, под горою, бежит,

*) Напечатано в августовской книжке „Отеч. Зап." за 1845 год.

Когда еще твой локон длинный
Вился над розовой щекой,
И я был юноша невинный,
Чистосердечный и пустой —
Ты помнишь: кой с чем мечтали
С тобою мы по вечерам,
И не забыла ты — давали
Свободу полную глазам.
И много высказалось взором
Желаний тайных, тайных дум;
Но победил моральным вздором
В нас сердце пламенный ум.
И разошлись мы полюбовно,
И страсть рассеялась, как дым...
И чрез полжизни хладнокровно
Опять сошлись мы — и храним
Молчанье тягостное...
Так то!
Когда-б к избытку сил младых
Побольше разума и такта (!) —
Не так бы бал и горько-тих
Был час случайной поздней встречи,
Не так бы сжата нас печаль,
Иной тоской звучал-б речи,
Иначе было-б жаль и жаль..

15 мая 1845 г. Н. Н—в.

Инеем зелень долины блестит,
А за долиной, синея, белеет
Весь освещенный зарей полосой...
. . . . . .
Падает *сизый* туман на долину,
Красное солнце *зашло* в *полосину*,
И показался с другой стороны
Очерк безжизненно-бледной луны...
В поле, завидев табун *лошадей*,
Ржет жеребец под одним из репьев...

Заунывный ветер гонит
Стаи туч на край небес,
Ель надломленная стонет,
Глухо шепчет темный лес
На ручей, *рябой и пестрый*,
За листком летят листок,
И струей *сухой и острой*
Набегает холодок.

Полумрак на все ложится;
Налетев со всех сторон,
С криком в воздухе кружится
Стая галок и ворон.
Над проезжей тарантайкой
Спущен верх, перед закрыт;
И „лошак“ — привстав с нагайкой
Явщик у дельцов кричит.

Конечно, такого рода описаний природы не найдешь ни у Жуковского, ни у Пушкина с Лермонтовым, ни далее у Кольцова. Все это очень мало походит на „Красным полымем заря вспыхнула“ или „В небесах торжественно и чудно“... Краски Некрасова будничво-серы, образы удивительно-просты, прозаически реальны; отдельные штрихи рисуемой картины кажутся порой грубыми и неэстетичными. И, однако, странное дело: читатель чувствует себя захваченным, покоренным этой серой, но бесконечно-милой красотою северного пейзажа; родная природа живет и дышит перед его глазами, и невольно хочется воскликнуть: „Здесь русский дух, здесь Русью пахнет“!..

VI.

Основные черты некрасовского лиризма.—Мелкие недостатки и великие достоинства.

Долго зревшее вдохновение вылилось в могучем и широком аккорде. Как мы только что видели, Некрасов сразу затронул почти все главные мотивы своей поэзии. Нельзя, однако, сказать, чтобы в следующие затем годы муза его отличалась особенной плодовитостью. Выпадали периоды, когда он писал не одному, много — по три небольших стихотворения за целый год (счастли-

вым исключением был только 1853 год, к которому относятся целых двенадцать пьес). Напав на настоящую дорогу, сознав настоящее свое призвание, поэт все еще, казалось, не был в себе уверен, и с крайней осторожностью, почти с робостью пользовался своим поэтическим даром. Впрочем, следует принять и то в расчет, что для русской литературы это были исключительно тяжелые годы, меньше всего благоприятствовавшие расцвету такой именно музы, как Некрасовская (музы гордой и несчастной, кипевшей злобою безгласной")...

...Некий образ посещать
Меня в часы работы стал:
С пером, со склянкою чернил
Он над душой моей стоял,
Воображенье леденя,
У мысли крылья обрывал.

Таким образом за первое десятилетие (1845—1854), кроме указанных уже выше, можно отметить еще лишь следующие выдающиеся стихотворения: „Еду ли ночью", „Муза", „Маша", „Извозчик", „Памяти Белинского", „Тройка", „Несжатая полоса", „Влас", „Свадьба", „Блаженен незлобивый поэт" и „Внимал ужасам войны". Все это, сравнительно, небольшие по об'ему вещи. Но зато в течение следующих десяти лет (1855—1864), открывших собою новую эру для жизни всей России, Некрасов обнаруживает почти лихорадочную деятельность. Он приступает к созданию широких картин общественной и народной жизни, и в роли блестящим опытом этого рода является поэма „Саша". Большие вещи чередуются с множеством мелких лирических пьес. Рядом с „Несчастными", „Поэтом и гражданином", „Тишиной", „Убогой и нарядной", „В больнице", „Размышлениями у парадного подъезда", „О погоде", „На Волге", „Рыцарем на час", „Напастей", „Дешевой покупкой", „Крестьянскими детьми", „Деревенскими новостями", „Коробейниками", „Морозом-Красным Носом", „Ориной" и „Железной дорогой" необходимо отметить в это время: „Праздник жизни", „На родине", „Замолкни муза!", „Школьник", „Прости", „Забытая деревня", „Тяжелый год", „В столицах шум", „Ночь", „Одинокий, потерянный", „Плач детей", „Похороны", „Свобода", „Стихи мои", „Зеленый шум", „В полном разгаре страда деревенская", „Надрывается сердце", „Памяти Добролюбова", „Благодарение Господу Богу". Уже из этого неполного перечня произведений Некрасова за „шестидесятые" годы видно, что десятилетие это было наиболее ки-

лучим и плодотворным в его творческой деятельности, как наиболее кипучим и плодотворным оно было и в жизни всей России. Муза Некрасова всегда чутко отражала биение общественного пульса страны.

С падением этого пульса в середине 60-х годов, замечается временный отлив и в поэзии Некрасова: для нее это —печальный период возрождения фельетона.. Он пишет: „Притчу о киселе", „Крещенские морозы", „Кому холодно, а кому жарко", „Газетную", „Песни о свободном слове", „Балет", „Суд", „Еще тройку"... Огромный талант и в это время продолжает, однако, вспыхивать яркими искрами,—таковы стихотворения: „Ликует враг", „Неизвестному другу", „С работы", „Стихотворения для детей", „Медвежья охота".

Зато последнее десятилетие жизни поэта (1868—1877) отмечено новым чрезвычайным под'емом и ростом поэтического творчества: к этому именно периоду относятся „Русские женщины", „Кому на Руси жить хорошо", „На смерть Пушкина", „Душно без счастья и воли", „Страшный год", „Памяти Шнейдера", „Три элегии", „Уныние" и, наконец, незавершенные „Последние песни"...

Окидывая мысленным взором эту огромную поэтическую работу, раскинутую на пространстве целых двух лет поражаешься прежде всего яркой определенностью, если можно так выразиться, бесспорностью писательской физиономии Некрасова. Перед нами резко очерченная, удивительно-своеобразная индивидуальность, которую ни с какой другой, на самое даже короткое мгновение, не смешаешь. Лишь очень немногие из самых крупных писателей наших могли бы в этом отношении посоперничать с Некрасовым. Даже, например, Пушкин при всей исключительности его значения для русской литературы, остается до сих пор предметом разногласия для критики, хотя о сущности его „пафоса" уже исписаны целые горы бумаги. С одинаковым, можно сказать, успехом пытаются перетянуть его на свою сторону представители прямо враждебных друг другу литературных партий... То же, или почти то же можно сказать про Лермонтова. Казалось бы, протестующий характер его поэзии не подлежал спору. Но против чего, собственно, был направлен его протест —этот вопрос каждый из критиков решал и решает по своему. Для одних „в поэзии Лермонтова слышались слезы тяжкой обиды", вызванные тем, что никогда с такой бесцеремонностью, как в николаевское время, права, честь и достоинство

человека не приносилась в жертву идее бездушного, холодного формализма. Лермонтов, согласно этому мнению, поистине гениально выразил всю ту скорбь, какою переполнены были его современники... Между тем, один из новейших критиков Лермонтова высказывает такое толкование его поэзии. „Можно ли более фальшиво,— спрашивает г. Андреевский,— об'яснять источник скорби поэта?! Точно в самом деле после николаевской эпохи, в период реформ, Лермонтов чувствовал бы себя, как рыба в воде! [1]) Точно после освобождения крестьян, и в особенности в 60 е годы, открылась действительная возможность „вечно любить“ одну и ту же женщину? Или совсем искоренилась „месть врагов и клевета друзей“?.. Современный Лермонтову формализм не вызвал у него ни одного звука (?) протеста. Обида, которою страдал поэт, была причинена ему свыше—Тем, Кому он адресовал свою ядовитую благодарность“.

Очевидно, не так легко найти определяющую сущность и Лермонтовской поэзии. Относительно Некрасова такого затруднения, как будто, не существует. Одно имя—и у друзей так же, как у врагов, сразу возникает перед глазами суровый и печальный облик писателя, который „лиру посвятил народу своему“. Поэт сам дал своей поэзии легкое и характерное определение „музы мести и печали“—и оно стало ходячим. Одна ослепительно-яркая, скорбная, гневно-рыдающая нота, не умолкая на протяжении тридцати слишком лет, звучит в его стихах, „народному врагу“ [illegible] суля, а другу у небес могущества моля“. На народе сосредоточены все чаяния, тревоги, любовь и печаль Некрасова: счастье народа—все его помыслы,—народа, как совокупности всех трудящихся и обремененных. Но так как подавляющую массу русского народа составляет крестьянство, то не мудрено, что поэт всего чаще и охотнее воспевает мужицкое горе. С течением времени русский мужик становится для Некрасова как бы воплощением, символом человеческого страдания, живым образом русского Прометея...

О личных своих муках поэт, так много выстрадавший, столько тяжелого перетерпевший, говорит удивительно мало по сравнению с другими поэтами-лириками, да и когда и говорит, то боль-

[1]) Мимоходом напомним почтенному критику, что ведь и Некрасов, в „зрелом“ характере которого не может быть сомнения, не стал чувствовать себя, „как рыба в воде“, с наступлением „эпохи реформ“...

шею частью для того только, чтобы заклеймить себя, как плохого гражданина, рассказать о своих ошибках и даже падениях... И самое большое, чего просит он от читателя, от родины, это—не верить клевете и простить его за действительные вины... Много нужно иметь зложелательства и бесстыдства, чтобы Некрасова с его целомудренно скромной, можно сказать—самоотверженной музой обвинять в желании разыгрывать роль „гражданского мученика"!

Как поэт, Некрасов,—лирик по преимуществу, лирик, переполненный одним сильным и глубоким чувством, всегда и всюду одушевленный одной идеей, ни на минуту не выпускающий ее из виду. Пишет ли он коротенькое лирическое стихотворение, большую ли эпическую вещь, смеется ли, плачет ли—он все тот же; даже когда рисует простую картинку природы,—по проникающему ее грустно щемящему или *умиленно-любовному* чувству, по какому-то особенному *некрасовскому* тону вы тотчас же догадываетесь, что поэт ни на секунду не расстается с своей „сокрушительной думой".

Поздняя осень. Грачи улетели.
Лес обнажился, поля опустели...
Только не сжата полоска одна ...

Своеобразный склад, своеобразная музыка: если бы вы не знали даже наизусть всего стихотворения, уже этими первыми строчками вы настроены на тон грустного рассказа. Или, вот отрывок из „Крестьянских детей":

Опять я в деревне. Хожу на охоту,
Пишу мои зарисовки. Живется легко.
Вчера, утомленный ходьбой по болоту,
Забрел я в сарай и заснул глубоко.
Проснулся: в широкие щели сарая
Глядится веселое солнца луча.
Воркует голубка; над крышей летая,
Кончат молодые грачи.
Летит и другая какая-то птица—
Не тени узнал я ворону как раз.
Чу! шепот какой-то. А вот вереница
Вдоль щели внимательных глаз
Все серые, карие, синие глазки—
Смешались, как в поле цветы...

В этой бесподобной картинке грусти и следа нет, но все же это не об'ективно-спокойный, эпический рассказ. Разве вы не слышите здесь разлитого в каждой строчке чувства глубо-

кого умиления, того умиления, которое испытывает человек, рассказывающий о самом дорогом для него и заветном? И таков Некрасов всегда. Даже в произведениях, по внешности строго эпических, посвященных изображению народного быта („Коробейники", „Кому на Руси жить хорошо"), он остается, в сущности, лириком, рассматривающим и природу, и жизнь сквозь призму личного чувства. В этом отношении любопытно сравнить Некрасова, например, с Пушкиным.

Лира Пушкина—дивный инструмент, решительно при всяком прикосновении издающий гармонические звуки. Все явления мира, как в зеркале, отражаются в чуткой душе поэта, и он переливает их в яркие поэтические образы, часто совершенно независимые от собственных его настроений. Так, картины времен года в „Евгении Онегине" никакого внешнего отношения не имеют к внутреннему миру героев романа: они вполне об'ективны и бесстрастны. Сейчас же после трагической смерти Ленского идет такое описание весны:

Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года;
Синея, блещут небеса.
Еще прозрачные леса
Как будто пухом зеленеют;
Пчела за данью полевой
Летит на поле восковой.
Долины сохнут и цветут,
Стада шумят и соловей
Уж пел в безмолвии ночей.

Попытайтесь „красою вечною сиять равнодушная природа"!. Или—как об'ективна, напр., пушкинская „Туча" („Последняя туча рассеянной бури"); знаменитое стихотворение, как известно, внушено было поэту счастливо промчавшейся над его головой грозою из III отделения, а между тем, в самой пьесе уже не видно этого личного чувства. Вот это то умение поэта как бы отрешаться от собственной личности и ее внутреннего мира и есть первое необходимейшее условие эпического творчества. У Некрасова такого умения почти не было; в его произведениях все теснейшим образом связано с общим душевным строем автора...

Возьмите, напр., картину вырубки леса в некрасовской

поэме „Саша“. Тут все до того отражает субъективное настроение юной героини, что читатель проникается даже злобой к «явившимся с топорами» мужикам!.. Эту сравнительную односторонность, эту недостаточную широту поэтической восприимчивости, быть может, следует признать крупным недостатком Некрасова, как художника, но в нем же, в этом „недостатке“, нужно искать и причину его огромной силы, секрет необычайной власти над чуткими и отзывчивыми сердцами. Поэт пушкинского типа вряд ли мог бы с таким блестящим успехом выполнить поэтическую миссию эпохи освобождения...

Подобно мифическому Антею, который делался неодолимо сильным, прикасаясь ногами к матери-земле, Некрасов поднимается во весь рост своего могучего таланта, и голос его приобретает полную силу всякий раз, как поет о горе народном; напротив, удаляясь от этого главного возвышающего источника, он как будто ослабевает, утрачивает свои чары. „Чиновника“, „Современную оду“, „Колыбельную песню“, „Нравственного человека“, „Прекрасную партию“, все сатиры 65—67 гг., „Недавнее время“, большую сатирическую поэму „Современники“ мы знали бы, может быть, не больше, чем многие остроумные стихотворения Минаева и Курочкина, если бы не подкупающее, гипнотизирующее имя Некрасова... С другой стороны, в некоторых из только что названных, сравнительно слабых вещей Некрасов вдруг, точно по мановению волшебного жезла, из юмориста среднего таланта превращается снова в перворазрядного лирика и создает лучшие свои шедевры, как только „попадает на своего конька“, вдохновляется впечатлениями и идеями известного порядка. Вспомните, читатель, то место в „Балете“, вялом и фельетонно-болтливом, где на сцену выходит в крестьянской рубахе Петина — „и театр застонал“.

Все — до ложи последней — в рубахе —
Было верно: на шляпе цветы,
Удаль русская в каждом размахе,—
Не артистка волшебница ты.
Все слилось в одичалом „браво“,
Дань народному чувству платя,
Только ты, моя муза, лукаво
Улыбаешься... Полно, дитя!
Неуместна здесь строгая дума,
Неприлична гримаса твоя...
Но молчишь ты, скучая и угрюма...
Что ж ты думаешь, муза моя?
На конек ты попала обычный,

На уме у тебя мужики,
За которых на сделке столичной
Петель пожинает венки.
И ты думаешь: Гурия рая!
Ты стан, ты волнушно-легка,
Так танцуй же ты „Даму Лунная",
Но в покое оставь мужика!
В мерзлых лаптях, в шубе нагольной,
В эту пору он пляшет довольно...
. . . . . .
Прямиком через реки, поля
Едут путники узкой тропою:
В белом саване смерти земля,
Небо хмурое, неясное мглою.
От утра до вечерней поры
Все одна пред глазами картины:
Видишь, как обнажая бугры,
Ветер снегом заносит лощины,
Видишь, как под кустом иногда
Проворхнет эта мелкая пташка,
Что от нас не летит никуда
(Любит скудный наш север, бедняжка).
Или, щелкая, стая дроздов
Пролетит и усядет на ели;
Слышишь дикие стоны волков
И вязкливое пенье метели...
Снежно, холодно. Мгла и туман...
И по этой унылой равнине
Шаг за шагом идет караван
С седоками в промерзлой овчине.

Вот едут мужики из города, где сдали в солдаты сыновей, и везут домой страшную кладь—крестьянское горе:

Где до солнца идет за порог
С топором на работу кручина,
Где на белую скатерть дорог
Поздним вечером светит лучина,
Там найдется кому эту кладь
По суровым сердцам разобрать,
Там она приютится, попрячется,
До другого набора пропляшется!

Эта картина безысходного мужицкого горя на сумрачном фоне зимней русской природы — дело и у Некрасова одна из наиболее сильных, а между тем, вкраплена она в одно из самых посредственных стихотворений...

Не менее замечательна бурлацкая песня „В гору" („Хлебушка нет!"), распеваемая разбойничьим хором «героев време-

ви" в остроумной местами, но в общем прозаической и растянутой сатирической поэме „Современники".

Итак, мы не отрицаем известной односторонности поэтической восприимчивости Некрасова, односторонности, вытекающей из всего душевного строя поэта. С точки зрения требований „чистого искусства" это, конечно, более или менее существенный недостаток. Но, подобно тому, как в живом человеческом лице наибольшую прелесть составляет иногда то, что меньше всего отвечает отвлеченным требованиям эстетики, в Некрасове,—как мы уже сказали,—теоретически недостаток является нередко источником силы и обаяния поэта. Говоря так, мы вовсе не думаем, конечно, утверждать, что поэзия Некрасова свободна решительно от всяких изъянов и недочетов: напротив, их очень много... Мы знаем это ничуть не хуже его многочисленных недругов, отыскивающих малейший предлог, чтобы отнять у своего идейного противника самый титул поэта. Мы только твердо уверены, что Некрасову не страшна никакая критика, и что наши потомки будут еще читать и любить его произведения в то время, когда не останется уже и следа от крикливой славы тех гениев, которых нам ставили и ставят в пример настоящей красоты и величия. Мы даже думаем, что, добросовестно отметив недостатки Некрасова, мы тем лучше сумеем понять, чем в действительности силен Некрасов, что есть в его поэзии великого и непреходящего.

Без обиняков следует, прежде всего, признать тот прискорбный факт, что период долгой подневольной работы, писания фельетонов, водевилей, мелодрам, пародий и юмористических куплетов из прозы для нашего поэта безнаказанно, испортив до некоторой степени его природное чутье художественной меры и такта и отучив тщательно работать над воплощением поэтического образа в стихотворную форму. У нас есть блестящий образчик того, чего мог достичь Некрасов, следуя собственному правилу:

Стихи, как мозаику, чекань
Строго, отчетливо, честно;
Правилу следуй упорно—
Чтобы словам было тесно,
Мыслям просторно!

Мы имеем в виду „Бурю" („Долго не спавшая Любушкина соседка"). Напечатанное первоначально в „Современнике" 1850 г.

стихотворение это было длинно и бесцветно; в печати его не узнали... Но три года спустя Некрасов переделал пьесу, сократив больше, чем на половину, снабдив более звучным метром и расцветив удивительно живописными красками; „Буря" стала неузнаваемой! К сожалению, такую виртуозность в обработке формы поэт проявлял далеко не всегда: обыкновенно же почти не делал поправок в напечатанном раз тексте, оставляя без внимания все указания и насмешки критики.

Примеров не только стилистических, но и поэтических промахов Некрасова можно привести не мало. Одним из самых слабых, на наш взгляд, является уже много раз отмеченною критикой центральное место в стихотворении „Еду ли ночью". Эта превосходная в общем вещь пользовалась и пользуется вполне заслуженной популярностью; чего стоят хотя бы первые строки:

Еду ли ночью по улице тёмной
Бурю ль на озере вижу пустынном,—
Вечно печальный, больной и бездомный,
Вдруг предо мной промелькнет тень твоя тень!

Тут опять сказывается обычная способность Некрасова несколькими словами, сразу создать у читателя известное душевное настроение: вы не прочли еще следующего стиха, а сердце уже стеснилось „мучительной думой". И вот, в этом-то удивительном стихотворении Некрасов допустил психологически-невероятную мелодраму: молодая, гордая женщина, сейчас же после смерти ребенка, в виду его еще не остывшего трупа и на глазах у больного мужа, „принаряжается, будто к венцу" и идет на улицу продавать себя... Для чего? Для того только, чтобы купить „гробик ребенку и ужин отцу". Но для этого так немного нужно, что было бы, конечно, достаточно—продать „венчальный" наряд! Если бы момент был выбран потом несколько иной, если бы, напр., мать отправилась на улицу, видя страдания своего ребенка и надеясь еще спасти его, мы бы ее поняли; но то положение, которое изображает Некрасов, не вызывает к себе ни малейшего сочувствия, потому что оно по существу фальшиво. Разумеется, ни одна в мире женщина так не поступит...

Той же мелодрамой, немыслимой в живой действительности, следует назвать и ту сцену во II части „Несчастных", где каторжники хором отпевают „в бешеном весе..." своего *умирающего* товарища. Совсем не так ведут себя в подобные минуты русские арестанты (вспомним, например, сцену смерти

Михайлова в „Зап. из Мертвого дома" Достоевского)... Не говорим уже о том, что нигде в России каторжных не держат в подземельях (у Некрасова действие происходит вечером — значит, не в рабочее время). В тех же „Несчастных" Крот заинтересовывает арестантов рассказами о Петре Великом. Казалось бы, достаточно посвятить этим рассказам два-три, много пять вечеров, у Некрасова же „*сто* вечеров до поздней ночи он говорил нам про него"! К слову сказать в цифрах Некрасов вообще не знает меры. Чиновник из „Фантастов" (напечатанного в 53 г.) рассказывает про себя: „Минет *сорок* лет знаю, как я щеку стал подвязывать, отморозивши на хмельной". Действие рассказа относится этим фактом ко времени нашествия французов, а Некрасов имеет, конечно, в виду обычную современную ему эпоху. Помещик из „Кому на Руси жить хорошо" тоже *сорок* лет безвыездно живет в деревне, а, между тем, не умеет отличить ржаного колоса от ячменного.. В любой крещенский мороз в Петербурге Некрасов на пространстве *пяти* саженей насчитывает „*до сотни*" отмороженных щек и ушей... У присутственных мест в том же Петербурге стоят *сотни сотен* (значит, самое меньшее — сорок тысяч!) крестьянских дровней..

Вычурным и неестественным кажется нам конец прелестного стихотворения „Выбор", где девушка, задумавшая наложить на себя руки, ничего лучшего не находит, как броситься вниз головой... с огромного дерева. В поэме „Дедушка" сын, встречающий возвращенного из ссылки отца-декабриста, „пред отцом преклоняется, *ноги омыл слезами*"... Княгиня Волконская скатывается вместе с кибиткой „с высокой вершины Алтая" — и ничего, остается жива и здорова (уж не подчеркиваем, что „вершины Алтая" стоят далеко в стороне от ее дороги). *) Фигура Савелия, „богатыря святорусского", носит явный отпечаток ги-

*) Теперь, после опубликования подлинных записок кн. М. Н. Волконской, из предисловия к ним мы узнали, что Некрасов писал 2-ю часть своих „Русских женщин", строго придерживаясь документальных свидетельств. Не один упрек критики в тенденциозной и сентиментальной выдумке сразу и навсегда отпадает.. Между прочим, Алтай оказывается фигурой и в подлинных записках кн. Волконской, так что Некрасов повторил только ее ошибку; но у него уцелело живое мысленное выражение „*полетела* с кибиткой", тогда как кн. Волконская пишет, что лошади „*понесли* ее с самой высокой горы Алтая". См. интересную статью А. Г. Горнфельда „*Русские женщины* Некрасова в новом освещении" („Русск. Вед." 1904 г. № 4).

перболы и шарж, а сантиментальная история с губернаторшей, точно будто, взята из какого-нибудь пасторального романа... В главе „Счастливые“ (в той же поэме „Кому на Руси жить хорошо“) бросается в глаза следующий досадный недосмотр. В пьяную праздничную ночь, расположившись за деревней под густой липой, странники „проклинают клич“ в бродящей кругом подвыпившей толпе мужиков: „Нет ли где счастливого? На славу угостим!“ И вот, вместе с разными другими счастливцами „пришел с *тяжелым молотом* каменотес-слепнями“. Спрашивается: откуда и зачем взялся у него в такую пору молот? Конечно, он явился на сцену единственно для красоты слога... Подобных промахов и недосмотров у Некрасова не оберешься. В первоначально напечатанном тексте стихотворения „В деревне“ были стихи: „Добрая барыня Мария Романовна на три *молебна* дала“ (вм. панихиды“)... И еще: „Деньги семнадцать рублей за упокой *его* душеньки подали“ (выходило: за упокой душеньки медведя)... Но эти обмолвки были позже устранены поэтом. За то в „Буре“ так и остался навсегда стих:

Промочила ножки и хоть выжми *шубку*,

хотя речь идет о летней грозе.. Но всего досаднее недосмотр в превосходной картине рубки леса в поэме „Зима“:

Там из-за старой нахмуренной ели,
Красные гроздья калины глядят...

Значит, дело происходит осенью (осенью и производится обыкновенно рубка леса); но дальше появляются вдруг на сцену разевающие желтые рты галчата, которые выводятся только весной...

Прозаические обороты и целые тирады, к сожалению, нередко врываются у Некрасова диссонансом в самые безукоризненные вещи, написанные „бессмертной красоты стихами“. В „Рыцаре на час“, напр., читаем:

Даль глубоко-прозрачна, чиста,
Месяц полный плывет над дубравой,
И господствуют в небе цвета
Голубой, беловатый, лазурный...

Или, в замечательную по поэтическому, чисто народному колориту песню воеводы-Мороза (в поэме „Мороз — Красный Нос“), обходящего дозором свои лесные владенья, заменяются каким-то образом такие грубые стихи:

Без жалу всю выбелю рожу,
А нос запылает огнем,

И бороду там приморожу
К возжам — хоть руби топором!

Наконец, в „Крестьянских детях" есть такое стихотворное рассуждение:

Положим крестьянский ребенок свободно
Растет, не учась ничему и т. д.

Этот, как видит читатель, довольно длинный перечень промахов и изъянов Некрасова, при желании, можно бы увеличить, но зачем? Что этим было бы доказано? По нашему мнению, только то одно, что высокодаровитый поэт, превосходно знавший русскую действительность и русскую природу на заре жизни, когда другие юноши еще учатся, спокойно и беспрепятственно развивая свои способности, прошел уже тяжелую школу черной литературной работы, постоянной спешки и лихорадочного возбуждения. Не получив систематического образования, Некрасов, по всей справедливости, может быть назван гениальным самородком. Указывать на слабости и частные промахи его, в доказательство того, что он не был поэтом,—нелепо, дико. Если бы мы захотели привести из Некрасова— в качестве не аргумента, а лишь примера— какое-нибудь стихотворение, отрывок высокой художественной ценности, мы сильно затруднились бы выбором: до того много у Некрасова истинно поэтических, прекрасных стихов, и так много каждый из нас знает их наизусть. Но, конечно, читатель с удовольствием перечитает еще раз следующие строки равных которым по красоте не много знает русская поэзия.

Все рожь кругом, как степь живая,
Ни замков, ни морей, ни гор...
Спасибо, сторона родная,
За твой врачующий простор!
За дальним Средиземным морем,
Под небом яр-се твоего,
Искал я примиренья с горем—
И не нашел я ничего!..
Я твой. Пусть ропщет укоризны
За мною по пятам бежал,
Не небесам чужой отчизны—
Я песни родине слагал!
И ныне жадно повторяю
Мечту любимую мою
И в умиленьи посылаю
Всему привет...
Храм Божий на горе мелькнул
И детски-чистым чувств и веры
Внезапно на душу пахнул.
Нет отрицанья нет сомненья,
И шепчет голос неземной:
Лови минуту умиленья,
Войди с открытой головой!
Как ни тепло чужое море,
Как ни красна чужая даль —
Не ей по праву наше горе,
Размыкать русскую печаль!
Храм воздыханья, храм печали—
Убогий храм земли твоей:
Тяжеле сводов не слыхали
Ни римский Петр, ни Колизей!
Сюда народ, тобой любимый,
Своей тоски неодолимой
Святое бремя приносил—
И облегченный уходил!
Войди! Христос возложит руки

И снимет волею святой
С души оковы, с сердца муки
И я вы с совести больной...
Я внял... и детски умилился...
И долго я рыдал и бился
О плиты старые челом,
Чтобы простил, чтоб заступился,
Чтоб осенил меня крестом
Бог утешенных, Бог скорбящих,
Бог поколений, поедстоящих
Пред этим скудным алтарем!

Напомним еще картину другого возвращения поэта на родину—в начале поэмы „Саша"; также—изображение девичьей тоски по милом в „Коробейниках" („Хорошо было детинушке"), или горя оскорбленной, поруганной женщины матери в „Крестьянке" („Я шла на речку быструю"). А какие оригинальные, чисто народные картины родной природы встречаются в глазном создании Некрасова—„Кому на Руси жить хорошо".

Весной, что внуки малые,
С румяным солнцем дедушкой
Играют облака:
Вот правая сторонушка
Одной сплошною тучею
Покрылась, затуманилась,
Стемнела и заплакала!..
Рядами нити серые
Повисли до земли.
А ближе, над крестьянами,
Из небольших, разорванных
Веселых облачков
Смеется солнце красное,
Как девка из сполов
Но туча передвинулась,
Поля пеленой накрывается—
Быть сильному дождю.
А правая сторонушка
Уже светла и радостна,
Там дождь перестает:
Не дождь—там чудо Божие,
Там с золотыми нитями
Развешаны мотки...

Мы намеренно не называем здесь стихотворений, посвященных памяти мученицы-матери, или таких как „Ликует враг", „Душно без счастья", „Баюшки баю" и т. п., чтобы нам не сказали: в этих вещах вас пленяет не поэзия собственно, а глубина человеческого страданья, или высота гражданского чувства...' Никакого отношения к этому последнему не имеет, например, следующее, мало почему то известное, но удивительно поэтическое стихотворение:

Тяжелый год—сломил меня недуг,
Беда застигла счастье изменило:
И не щадит меня ни враг, ни друг,
И даже ты не пощадила!
Истерзана, озлоблена борьбой
С своими кровными врагами,
Страдалица! стоишь ты предо мной
Прекрасным призраком с безумными глазами!
Упали волосы до плеч,
Уста горят, румянцем рдеют щеки,
И необузданная речь

Гибнется в ужасные утробы,
Жестокие, неправые... Постой!
Не я обрек твои младые годы
На жизнь без счастья и свободы,
Я друг, я не губитель твой!
Но ты не слушаешь...

Ведь это целая повесть разбитого существования... Видишь воочию эту женщину, ожесточенную долгими страданиями и обидами жизни, измученную подозрениями, утратившую веру в любовь и дружбу...

Жрецы и поклонники чистого искусства не любят, между прочим, Некрасова за его „тенденциозность". Но, прежде всего, что такое тенденциозность. Стремление уложить живую жизнь на Прокрустово ложе предвзятых мнений и выводов. Разумеется, каждый писатель, каждый художник изображает жизнь так, как она *ему* представляется, т.-е. до известной степени всегда субъективно. Если угол его зрения необычен, исключителен, то мы можем получить односторонне, неверное изображение жизни; и, однако, тенденциозным его можно будет назвать лишь в том случае, если художник сознательно, намеренно извратит истину. Такого намеренно, головно-рассудочного извращения у Некрасова нет. Это лучше всего можно видеть на анализе его песни „О погоде", чаще всего подвергавшихся нападкам критики. Говорят: какая сплошная гипербола! Какие кричащие краски! Вот — погонщик, бьющий поленом замерзшую клячу; вот — мчащаяся во весь опор и задевающая за похоронные дроги коляска: „гроб упал и раскрылся"... К ним оказывается труп чиновника, потерявшего четырнадцать раз

Все больны, торжествует аптека
И варит свои зелья гуртом;
В целом городе нет человека,
В ком бы желчь не кипела ключом...

Гипербола, не спорим, на лицо, сгущенные, режущие глаза краски — также. И, тем не менее, и в этих „О погоде" мы видим сильную, горячую, искреннюю лирику. Все дело в том, что автор и не имел вовсе в этом произведении в виду психику и логику здоровых, счастливых людей. К их числу не принадлежал, конечно, русский писатель того времени, когда слагались песни о погоде (1859 г.), истосковавшийся по воздуху, задыхавшийся жизнью, которая на каждом шагу с ожесточением била по его туго натянутым нервам. В эти томительно долгие предрассвет-

ные годы, когда надежды на близкое обновление то разгорались ярким пламенем, то внезапно гасли и исчезали, жилось особенно тяжело, и Некрасов, и без того мало отрадного воспитавший в жизни, в песнях „О погоде" с несомненно глубокой искренностью и верностью действительности выразил тогдашнее больное, желчно-озлобленное настроение петербургского интеллигента, то настроение, когда при утреннем пробуждении кажется, что „начинается день безобразный, мутный, ветреный, грязный", когда „злость берет, сокрушает хандра, так и просятся слезы из глаз"...

Дикий крик продавца-мужика
И шарманка с пронзительным воем,
И кондуктор с трубой, и войска,
С барабанным идущие боем,
Понуканье измученных кляч,
Чуть живых, окровавленных, грязных,
И детей раздирающий плач
На руках у старух безобразных—
Все сливается, стонет, гудет,
Как-то глухо и грозно рокочет,
Словно цепи куют на несчастный народ,
Словно город обрушиться хочет!

Ведь не надо было обладать умом Некрасова, чтобы понимать, что „все" не могут быть больны в Петербурге даже и в самую ужасную осеннюю погоду: и задумай Некрасов написать вещь, искусственно и хладнокровно рассчитанную на эффект, он, конечно, сумел бы обойтись без подобных lapsus'-ов. Но он был поэт искреннего, могущественно захватывающего чувства; он глубоко переживал те настроения, которые передавал в своих произведениях, и оттуда-то, быть может, происходили иногда из тех мелких промахов, о которых мы выше говорили и которые, при первом взгляде, так поражают в этом quasi-холодном, quasi практическом таланте. Почти каждое стихотворение Некрасова написано кровью сердца и соком нервов. Вот почему у него совсем мало вещей *неинтересных*, которыми так богаты жрецы чистого искусства... Недостатки формы отыщутся у Некрасова в самых безукоризненных (вроде даже „Рыцаря на час") произведениях, но зато и в самых слабых вы подметите у него достоинства, которыми он головой возвышается над своими собратьями. Стихи его всегда выкованы из живого человеческого чувства, из бодрой, деятельной мысли...

Некрасов, как певец труженичества и обездоленных.

«Он проповедывал любовь враждебным словом отрицанья». С отрицания, конечно, и должен был начать всякий передовой писатель эпохи борьбы за освобождение. Но если Некрасов и после того, как „порвалась цепь великая", вместо ликующих гимнов продолжал прежнюю отрицательную работу, будя общество тревожным вопросом: „народ освобожден, но счастлив ли народ?"—то в этом отношении он не занимал исключительного положения среди наших лучших писателей. По общим условиям нашей гражданственности только такая работа и была у нас возможна: развитие положительной стороны передового мировоззрения встречало всегда непреодолимые препятствия...

„Иных времен, иных картин провижу я начало в случайной жизни берегов моей реки любимой",—мечтает поэт в маленькой поэме „Горе старого Наума":—„освобожденный от оков, народ неутомимый созреет; густо заселит прибрежные пустыни; наука воды углубит... По гладкой их равнине судаки-гиганты побегут несчетною толпою, и будет вечен бодрый труд над вечною рекою!.. Мечты!.. Я верую в народ..." Если не считать следующих затем строк выразительных точек, то нарисованную в приведенных стихах картину грядущего народного счастья нельзя не признать довольно-таки смутной... Кого, однако, винить в этом?

Не раз упрекали Некрасова в том, что он и современную ему действительность изображал одними мрачными, отрицательными красками, не видя в ней решительно ничего светлого, отрадного. Но эти упреки совершенно неосновательны: поэзия Некрасова изображает и то положительное, что было в русской жизни. Такова хотя бы целая галлерея обаятельных портретов народных заступников и печальников, нарисованных поэтом в целом ряде произведений: пред нашими глазами проходят: Грановский, Белинский (непосредственно и в образе Крота в «Несчастных"), Добролюбов, поэт-семинарист Ирина, Ермила Гирин, Саша (этот прелестный стебель и цветок, еще не вполне распустившийся), „дедушка"-декабрист, герои и

героини стихотворений „Пророк", „Кузнец", „Ты не забыла", собственная, изломец, мать поэта... Но главным положительным героем Некрасова является сам русский народ, в лице его главной составной части—крестьянства... Мы только что привели признание поэта: „Мечты!.. Я верую в народ". В устах Некрасова это не красивая только фраза, а действительная „вера" пострадавшегося сердца, его последнее прибежище и святыня.

Воспевать мужицкие страдания поэт начал, как мы видели, рано, с первого же стихотворения, создавшего ему известность; но нота настоящей влюбленности в народ зазвучала в стихах его не сразу. Когда, по окончании Крымской войны, всем стало ясно, что идти дальше по пути крика и застоя Россия не может, не рискуя своим историческим существованием, общество русское вдруг поняло, что есть *некто*, чьи интересы в тысячу раз важнее для блага и счастья родины, чем интересы небольшой своекорыстной кучки дворян. То был великий исторический момент... Могучая общественная волна подняла и Некрасова; в поэзии его, более свободно звучавшей теперь, чем в сороковые годы, появились новые — то гневные, то восторженные ноты... Одно за другим, стали выходить в свет наиболее сильные и характерные его произведения*). К сожалению, размеры настоящей статьи не позволяют нам распространиться о том, какую видную роль сыграли эти произведения в возникновении и развитии того замечательного идеалистического движения в нашей литературе, которое известно под именем народничества. Не даром так любил Некрасова один из главных его представителей—Г. И. Успенский.

Но как же, собственно, рисовал себе Некрасов выступившего на историческую сцену „прекрасного незнакомца"? Не видел ли он в русском народе, подобно славянофилам-почвенникам, особую мистическую подкладку, делающую его народом избранником, образцом и поучением для „гнилого" Запада? Ради великих страданий, выпавших на долю народа, не закрывал ли глаз на его гневные, отрицательные стороны?

*) „Тишина", „Размышления у парадного подъезда", „В столицах шум", „Ночь", „На Волге", „Дерев. Новости", „Крестьянские дети", „Вчерашняя", „Коробейники", „Свобода", „Зеленый шум", „В полном разгаре страда", „Орина", „Мороз—Красный нос", „Жел. дорога", „С работы" и пр.

Ничего подобного. Ни квасного, ни мистического элемента нет и следа в любви Некрасова к крестьянину, доходящей порою до восторженного удивления, но остающейся всегда трезвой и трезвой.

В рабстве спасенное
Сердце свободное,
Золото, золото
Сердце народное!—

вот что в особенности привлекает поэта к русскому народу: его гуманность, терпимость даже к врагу, его героическая бодрость в страдании.

Его ли горе не скребет?
Он бодр, он за собой шагает,
Без наслажденья он живет,
Без сожаленья умирает.
Его примером укрепись,
Сливаешься под игом горя,
За личным счастьем не гонись
И Богу уступая, не спорь!

Пресловутое мужицкое терпение, которое в минуты отчаяния поэт сам клеймит не раз именем рабского отупения, в моменты более спокойные представляется ему свойством того же, спасенного в рабстве, „золотого" сердца. Это — не холопство, не нравственное падение, а, напротив, результат сознания своей могучей стихийной силы, которую никакое испытание сломить не может, беззаветная вера в конечное торжество правды, глубокое чувство общественной солидарности, наконец —органическое отвращение к насилию, природное добродушие...

Княгиня Волконская, по дороге к мужу-декабристу оскорбленная офицером-бурбоном, заходит в убогую сибирскую церковь и просит попа отслужить молебен.

За что мы обижены столько, Христос,
За что поруганья покрыты!
И реки давно накопившихся слез
Упали на жесткие плиты.

Толпа богомольцев-простолюдинов остается молиться вместе с нею.

Казалось, народ мою грусть разделил,
Молясь молчаливо и строго,
И голос священника скорбью звучал,
Прося об избавленных Бога.
Убогий, в пустыне затерянный храм!
В нем плакать мне было не стыдно.
Участье страдальцев, их ласковый там,
Убитой душе не обидно!

И в другой раз, при мысли о народе, из измученной груди княгини вырываются следующие трогательные слова, несомненно выражающие мысль самого поэта:

Быть может, вам хочется дальше читать,
Да просится слово из груди:
Помедлим немного... Хочу я сказать
Спасибо вам, русские люди!
В дороге, в изгнанье, где я ни была,
Все трудное каторги время—
Народ! я бодрее с тобою несла
Мое непосильное бремя.
Пусть много скорбей тебе пало на часть,—
Ты делишь чужие печали,
И где мои слезы готовы упасть,
Твои уж давно там упали!
Ты любишь несчастного, русский народ...

Превосходными образчиками гуманности этого народа и его способности сочувствовать всему живому и страдающему служат два прекрасных стихотворения: „Похороны" (отношение крестьянина к захожему человеку, который по неизвестной причине належал на себя руки) и „С работы" (голодный крестьянин прежде всего заботится о том, чтобы была накормлена его голодная лошадь). С редким добродушием и терпимостью выслушивают некрасовские мужики (в „Кому на Руси ж. х.") самозащиту помещика и попа, которых не имеют, конечно, особенных причин любить и жаловать, а выслушав—признают в этой защите долю правды и решают выключить попа и помещика из списка предполагаемых счастливцев...

Такое понимание „сердца народного" не мешает Некрасову, как мы уже говорили, ясно видеть все недостатки и даже пороки народа, и прежде всего—его умственную темноту и закоренелое невежество, делающие его способным на поступки, о которых в лучшем случае только и можно сказать: sancta simplicitas! как о той старухе, которая желая угодить Богу, принесла вязанку дров на костер Гуса. Достаточно указать на стихотворение „Так, служба! сам ты в той войне дрался—тебе и книги в руки", где рассказывается ужасная история идиотски добродушного избиения мужиками целой семьи плененных французов. Стихотворение это подвергалось не раз ожесточенным нападкам „патриотической" критики, как грубая фальшь и чуть ли даже не злостная выдумка на народ, и поэт, очевидно внявши ей, отнес, в конце концов пьесу в отдел «Приложений». Между тем, в доказательство

того, что сюжет ее не придумал, что в „великом“ двенадцатом году подобные истории случаться могли, можно бы привести аналогичную историю, рассказанную Тургеневым в „Однодворце Овсянникове“ („Зап. Охотника“). Сравнив две эти истории, мы видим, что у Некрасова есть нечто, если не оправдывающее, то, по крайней мере, об'ясняющее ужасный поступок крестьян: они убивают француза, озлобясь, в порыве „патриотического“ озлобления:

Поймали мы одну семью,
Отца да мать с тремя *щенками*:
Тотчас ухлопа́ли и *мусью*,
Не из фузей — кулаками!

А дальше в убийцах просыпается человеческое чувство сожаления, хотя и наш'дшее себе исход в уродливо-диком, ужасном поступке. У Тургенева дело происходит несравненно проще и, потому, ужаснее. Крестьяне Смоленской губернии, поймав „француза“ Лежепя, не „тотчас ухлопывают“ его, а запирают на ночь в пустую суконвальню и лишь на утро приводят к „проруби“ и предлагают „уважить“ их — нырнуть под лед речки Гнилоперки. Француз, конечно, упрямится; тогда мужики, не оставляя добродушной насмешливости, начинают поощрять его „легкими“ толчками в шею... Патриотическое озлобление до такой степени отсутствует, что когда проезжий немецкий предлагает крестьянам в качестве выкупа за Лежепя двугривенный на водку, они отвечают ему хором: „Спасибо, батюшка, спасибо! Извольте, возьмите его“.

Но если стихотворение „Так служба!“ далеко от идеализации русского народа, то надо сказать, что оно не единственное у Некрасова. Можно отыскать во многих поэмах и в его произведениях, где увидятся даже прямо отталкивающие нравы и типы народные: „Трояка“, „Проводы“, „Кумушки“, „Влас“ (до его перерождения), „Крестьянский грех“ в „Пире на весь мир“. Отнюдь не могут быть названы идеализированными и такие лица, как Ванька и Тихоныч, главные герои «Коробейников» (этой лучшей и родной поэмы Некрасова).

За всем тем, не подлежит, конечно, спору, что достоинства народного характера бесконечно перевешивали в глазах нашего поэта все недостатки и пороки. И в общем поэзия Некрасова может быть рассматриваема именно, как сплошной костер-жженный гимн трудящемся, рабочим слоям русского народа. Для иллюстрации этого положения нам пришлось бы переписать чуть не половину его книги... Чем, например, иным, как не

ным труду следует назвать всю поэму «Мороз-Красный Нос»? Каков теплотой и любовью дышит каждый штрих хотя бы этой прелестной, изумительной по реальности красок, картинки летней крестьянской работы:

Косили сколы мужики,
А Дарья картофель копала
С соседних полос у реки.
Спокроешь ее тут же, старушка,
Трудилась: на полном мешке
Красивая Маша, резвушка,
Сидела с морковкой в руке.
Телега, скрипя, подъезжает—
Савраска глядит на своих.
И Проклушка крупно шагает
За возом сколов золотых.

Вот помощь! А где же Гришуха?
Отец мимоходом сказал.
„В горохах", сказала старуха.
—Гришуха! отец закричал.
На небо взглянул —Чай, не рано?
Успеть бы... Хозяйка встает
И Проклу из белого жбана
Поить молоком норовит.
Гришуха, меж тем, отозвался;
Горохом опутан кругом,
Проворный мальчуга катался
В кустах зеленым кустом.
Бегит.. У, бежит по пригорочек,
Горит и дымится глаза..
Гришуха чорен, как галченок,

Села длинн одна голова.
Машутка отцу закричала:
—Возьми и меня, тятька, с собой—
Спрыгнула с мешка и упала,
Отец ее поднял: „Не вой!
Убилась—не важное дело,
Девчонок не жалко мне,
Еще вот такую я сделал
Рожай мне, хозяйка, к весне!
Смотри же..." Жена застыдилась:
—Довольно с тебя одного!
(А зимой—над сердцем уж билась
Дитя ... „Ну, Машук, ничего!"
И Проклушка став на телегу,
Машутку с собой посадил;
Покатил и Гришуха с разбегу.
И с горок тот час покатил
Воробушков стая слетела
С сосенок, над нивой взвилась,
И Дарьюшка долго смотрела,
От солнца рукой заслонясь.
Как дети с отцом приближались
К дымящейся риге своей,
И сам из сколов улыбаясь
Румяные лица детей...

Во избежание каких либо недоразумений, спешим повторить сделанную уже в предыдущей главе оговорку, «Народ», сосредоточивающий на себе все внимание всего творчества и чтения поэта, есть *совокупность всех трудящихся масс населения*, без различия их отношений труда; на Некрасова нельзя смотреть, потому, как на певца и адвоката исключительно крестьянского горя. Если после него он воспевал, действительно, всего чаще и охотнее, то об'ясняется это вполне естественно и просто: крестьянство составляло во времена Некрасова (как, впрочем, и до сих пор составляет) подавляющую по своей численности массу русского населения и притом являлось главной жертвой прежнего зла (а крепостное право—лишь наиболее ярким его проявлением). Страдания мужика были, таким образом, в глазах Некрасова как бы самым ярким страданием всего русского народа... Но все забитые, все

обездоленных органически имели в нем своего певца и друга...*).

Среди жертв человеческого насилия, жестокости и невежества, быть может, наиболее беззащитной является женщина:

Ключи от счастья женского,
От нашей волюшки
Заброшены, потеряны
У Бога самого!

И русская женщина на всех ступенях общественной лестницы нашла в лице Некрасова одного из пламенейших своих адвокатов. Устами любимого героя (Гриши) Некрасов высказывает уверенность, что потерянные ключи от счастья женского будут все же когда-нибудь разысканы («Еще ты в семействе *покуда* раба, но мать уже вольного сына»).

Нарисованные им женские образы-одни из самых пленительных в русской литературе. Прежде всего это—образ собственной матери поэта, во многих из многочисленных стихотворений и поэм: затем—Катерина из „Коробейников", Саша из поэмы того же названия, Дарья из „Мороза", княгиня Трубецкая и Вол-

*) В высшей степени курьезными представляются нам утверждения г. Ашешова („Образование" 1903, № 12), будто любовь Некрасова к народу и вера в него „были смутны и неопределенны, ибо были лишь романтическими терминами какого-то весьма неясного анализа по существу" — „Некрасов, как и романтики вообще, также те, которые резко подчеркивали свое тяготение к идеальному трудящемуся слою, представление о нарождающемся светлом обществе, быть может, только немногим более рельефное, чем даже у этих последних, когда они мечтали об освобождении крестьян, как массы вообще, независимо от составляющих ее элементов". —„Как романтик неопределенной народной скорби, Некрасов устарел. Его муза не может развивать „гражданскую часть нашего мировоззрения, стремящегося быть точным и определенно устойчивым". „Но за исключением этой особенности (неопределенности народной скорби и самого народа) у Некрасова все же остается целое колоссальное богатство мотивов, в которых выражается любовь не к *народу вообще, а к обездоленным, несчастным и угнетенным*". Путаница „точных и определенно-устойчивых" взглядов самого г. Ашешова в подчеркнутых нами словах выступает обнаженно ярко. Любопытны также его чисто эстетические взгляды. „В скорби любви в лирических настроениях Некрасов не нужен" (это, напр., в „Трех элегиях", или „Я посетил тебя в гробнице" ?!... „Его сатиры умрут скоро, если они не умерли" (что не мешает строгому критику в двух местах назвать *классическими* „Размышления у парадного подъезда")... „Его мелкие юношеские стихотворения долговечны еще менее"... Одним росчерком пера г. Ашешов, очевидно, подписывает смертный приговор таким сосредоточенным перлам русской поэзии, как „Родина", „Некрасу Зрит", „Не рыдай так безумно", „Должно! без счастья и воли", „Баллада о ком", „О, муза, я у двери гроба" и пр., и пр.

конская, Матрена Тимофеевна из „Кому на Руси жить хорошо". Далее следуют героини мелких стихотворений: „И посетил твое кладбище", „Памяти Аксиньей", „Свадьба", „В больнице". „Тяжелый крест достался ей на долю", „Дешевая покупка", „В полном разгаре страда", „Песня Любы"...

Рядом с женщиной не мало теплых страниц посвящено Некрасовым и детям.

Равнодушно слушая проклятья
В битве с жизнью гибнущих людей
Из-за них вы слышите ли, братья,
Тихий плач и жалобы детей?—

с болью и ужасом спрашивал поэт, и в произведениях его то и дело встречаются—то глубоко-трогательные картинки из детской жизни, то негодующие обращения к обществу, которое недостаточно озабочено охраной этих беспомощных, беззащитных существ („Мороз Красный Нос", „Плач детей", „Несчастные" I ч., „О погоде"..„Крестьянские дети", „Деревенские новости", „Демушка" и „Волчица" в „Кому на Руси жить хорошо").

Специально для детей написан им целый ряд всем известных и столь любимых детьми стихотворений.

„Любят *несчастного* русский народ", писал поэт,—и в его собственной душе тоже нашелся уголок для несчастных отверженцев человеческого общества. Кроме стихотворений „Еще тройка" и „Благодарение Господу Богу", у Некрасова есть целая большая поэма („Несчастные"), посвященная ссылке и каторге. К сожалению, поэма эта, нестройная в целом (первая часть чисто формально связана со второй), страдает крупными частными недостатками. Лицо, от имени которого ведется рассказ, до конца остается неясным и бледным; образ убитой им женщины не выдержан: в I ч.—это „ангел в грозе и демон у пристани желанной", а во II ч.—„женщина пустая, с тряпичной дюжинной душой..." Растянутость (особенно первой части) также вредит впечатлению. И при всем том, „Несчастные", благодаря проникающему их теплому, гуманному чувству, массе поэтических подробностей, а главное—яркой и оригинальной фигуре автора (Белинского), до сих пор остаются одной из популярнейших поэм Некрасова. Описывая каторгу задолго до появления „Записок из Мертвого Дома", Некрасов, естественно, сделал несколько крупных промахов в обрисовке этого совершенно неведомого тогда русскому обществу мира. Замечательно, однако, что поэтическим чутьем он сумел угадать некоторые чрезвычайно жизненные и прав-

дивые черты из быта „Несчастных“. Таково, например, страстное стремление арестантов к свету знания, их любовно внимательное отношение к рассказам попавшего в их среду образованного человека:

Забыты буйные проказы,
Наступит вечер — тишина,
И стали нам его рассказы
Милей разгула и вина...
Никто сомкнуть не думал очи
И не промолвил ничего.
Он говорит — ему внимаем
И, полны новых дум, тогда
Свои оковы забываем
И тяжесть черного труда [1].

Из многочисленных разнообразных мотивов некрасовской поэзии отметим еще чувство пробуждающегося человеческого достоинства у приниженного и обезличенного раба. Впервые был затронут Некрасовым этот мотив еще в 1848 г. в стихотворении „Вино“ („Без вины меня барин посек, сам не знаю —что сталось со мной...“), и к нему не раз возвращался он впоследствии: вспомним хотя бы „На постоялом дворе“ („Из ночлегов“) и своеобразное проявление того же чувства в притче „Про холопа примерного—Якова верного“:

Крепко обидел холопа примерного,
Якова верного
Барин.—Холоп забурил!

Полное духовное перерождение человека, нравственно, казалось, совершенно погибшего, поэт рисует нам отчасти в „Горе старого Наума“, особенно же ярко—в знаменитом „Власе“, который как бы символизирует таящиеся в русском народе огромные силы...

Рядом с народною жизнью внимание Некрасова часто останавливается и на разных течениях русской общественной жизни, на нарождающихся типах интеллигенции. В лице Агарина перед нами оригинальная разновидность Рудина; в „Медвежьей охоте“—насмешливая характеристика русского „общественного мнения“ и „либерализма“; в „Современниках“—типы всевозможных дельцов и аферистов (еще в 1846 г. в стихотворении „Секрет“ Некрасов крайне отрицательно отнесся к зарождавшейся русской „буржуазии“). Стихотворения: „Песня Еремушки“, „Она была исполнена печали“, „Песня Любы“, „Я сбросила мертвящие оковы“ и пр. рисуют любопытные общественные настроения иного характера. Грипа („Пир на весь мир“)—пред-

[1]) Не забыты гуманным поэтом даже животные, так много страдающие от людской жестокости „На улице“, „О погоде“, „Дедушка Мазай и зайцы“, „Соловьи“, „Мороз-Красный нос“, „С работы“).

ставитель поколения 70-х годов, которое несло в народ свои знания и любовь... Поэт верит, что русская интеллигенция посеет добрые семена на почве болотного, но дремлющего народного духа, — и русский народ скажет ей „спасибо сердечное"...

Остается отметить ряд наиболее проникновенных и трогательных стихотворений Некрасова, в которых он высказывает свой взгляд на роль писателя вообще и свое писательское призвание в частности. Назначение поэта, по его мнению, — „напоминать человеку высокое призвание его", чтоб „человек не мерзкими очами мог созерцать добро и красоту".

Казни корысть, убийство, лихоимство,
Сорви венки с преступных наших глав!

Такой идеал поэта-гражданина, поэта-бойца, который рисуется Некрасову в его наиболее возвышенных мечтаниях, но который для себя самого он считает недостижимым:

Мне борьба мешала быть поэтом,
Песни мне мешали быть бойцом.

Идея эта с особенной настойчивостью высказана в известном диалоге „Поэт и гражданин". Смелый призыв гражданина: „В такое время стыдно спать!"—встречает в душе поэта одно отчаяние. В свободном слове есть сила, соглашается он,—но дело в том, что лира его никогда не была свободной: при первых же звуках ей пришлось умолкнуть... А гибнуть не хватило мужества:

Лукаво жизнь вперед манила,
Как моря вольные струи,
И ласковою любовью сулила
Мне блага лучшие свои.—
Душа пугливо отступила...
. . . . . .
Смутилась муза лик печальный
И, тихо зарыдав, ушла.

И поэт решает: „цвел один венок терновый к ее угрюмой красоте"...

Самооценка, несомненно, крайне субъективная и несправедливая, но характерно, что она проходит яркою нитью через всю поэзию Некрасова. Самодовольство ей чуждо, противно, черта, делающая нравственный облик нашего поэта особенно симпатичным и привлекательным. Только в очень редких исключительных случаях с лиры его срывается гордый, счастливый звук: поэт сознает, что по мере сил выполнил свою великую миссию служения народу... Таково предсмертное стихотворение:

О, муза! я у двери гроба!
Пускай я много виноват,
Пусть увеличит во сто крат
Мои вины людская злоба,
Не плачь! взвидев жребий ваш,
Не нарушаются над нами:

Меж мной и честными сердцами
Порваться долго ты не дашь
Живому, кровному союзу!

Не русский взглянет без любви
На эту сладкую в крови,
Кнутом иссеченную музу...

VIII.

Критики и читатели.—Болезнь и смерть.—Прочность славы Некрасова.

Поэт не ошибался в своем предсмертном провидении. Если отыскивались и, быть может, не раз еще отыщутся отдельные судьи, неправедные и немилостивые, то в общем „живой кровный союз“ меж ним и всеми „честными сердцами“ установился прочно, и, нужно думать, с годами он будет лишь расти и крепнуть. Но Некрасову пришлось вести долгую и тяжелую борьбу для того, чтобы завоевать общее признание.

„Если бы дать больше места выдержкам из отзывов критики, то каждый наглядно убедился бы, как долго и упорно печать наша не признавала всей силы поэтического значения Некрасова, и как публика сама поняла и полюбила поэта. Некрасов занял сам с бою, без союзников, свое настоящее положение в русской литературе“.

Так писал в 1879 г. С. Н. Пономарев в послесловии к первому посмертному изданию стихотворений поэта, которое он редактировал. В самом деле, просматривая три части изданного г. Зелинским „Сборника критических статей о Некрасове“ (доведенного лишь до 1877 г.), мы видим, что в течение почти всех сороковых годов критика наша хранила о поэте глубокое безмолвие, а за следующее десятилетие появилось всего лишь несколько незначительных отзывов, в одном из которых Эраст Благонравов писал: „Трудно найти стихотворца, который был бы меньше поэт, чем Некрасов“. Автор другого отзыва, Аполлон Григорьев, заявил (уже в 1855 г.), что не находит поэзии в доселе напечатанных стихах Некрасова, за исключением лишь стихотворения к падшей женщине („Когда из мрака заблужденья...“).

Вышедшее в 1856 г. первое издание стихотворений Некрасова было раскуплено публикой с изумительной быстротою, но в печати не вызвало ни одной статьи, ни одной самой коротенькой рецензии!

Объясняется это, конечно, тем, что „Современник“, отражавший взгляды и настроение молодой России, в сердце которой стихи Некрасова нашли такой сочувственный отклик, издавался самим поэтом, и на страницах этого журнала похвала Некрасову

не могла найти себе места. Один только раз Добролюбов (и то не называя имени Некрасова, хотя имея в виду, очевидно, его) высказал мнение, что Пушкин, Лермонтов и Кольцов уже нашли себе достойного продолжателя... Что касается остальных органов печати, то они находились в руках людей поколения отживающего, понимавших поэзию, прежде всего, как служение „красоте". Само собой разумеется, что в таких критиках поэзия Некрасова в лучшем случае вызывала недоумение. .

Только в начале 60 годов, когда свежая струя общественности широким потоком разлилась по всем уголкам обновленной России, отразившись прежде всего на печати, последняя сразу заговорили о Некрасове, как о признанном уже „властителе сердец" молодого поколения. В это время, как бы поддавшись общему энтузиазму, переменили о нем к лучшему мнение и наиболее искренние представители поколения старшего, вроде Ап. Григорьева, который с восторгом отзывался теперь о „народном сердце Некрасова и о „почвенности" его поэзии.

Но вот схлынула живая волна. . „Призванная к порядку", русская жизнь опять начала замирать и принимать „благообразный" вид. Свежие, молодые голоса замолкли, и это опять не замедлило сказаться на отношениях критики к Некрасову. К тому же, как мы видели, последний сам не устоял в этот тяжелый период на прежней высоте и, поскользнувшись, дал новую пищу злорадству врагов; клевета „снежным комом покатилась по Руси, по родной"... Наиболее тяжелым и мучительным для Некрасова моментом был 1869 г. Гг. Антонович и Жуковский, недавние друзья, поддавшись чувству мелкого, самолюбивого озлобления, выпустили против Некрасова целую обличительную брошюру, „Материалы для характеристики современной русской литературы", где развенчивая Некрасова, как журналиста, и человека, пытались подкопаться и под его поэзию. „Вам так же легко перестроить вашу лиру на совершенно новый лад,—развязно обращался г. Антонович к Некрасову,—как вашему другу (?) г. Краевскому легко променять прежний образ мыслей на новый; вы с одинаковым увлечением и искусством можете и восхвалять, и порицать один и тот же предмет, вам ничего не стоит метать громы гражданского негодования в какого нибудь вельможу, швейцар которого отогнал от его подъезда „деревенских русских людей", а завтра рабски льстить ему и прославлять его доблести восторженным мадригалом; вам нужна только тема, какова бы она ни была, а вы уж обработаете ее поэтически..." Словом,

отрицалась в поэте всякая искренность, всякое убеждение*).

Нечего и говорить, что, несмотря на искусную и сильную отповедь И. А. Рождественского, в том же году выпустившего без ведома Некрасова—ответную брошюру „Литературное падение гг. Антоновича и Жуковского", во враждебном Некрасову литературном лагере нападки на него встретили самый радостный прием. Страхов писал в «Заре»: „Наиболее значительная часть нашей печати (либеральная) живет одною фалшью, сознательно и постоянно кривит душею. Не раздается ни одного искреннего, прямого голоса: все лукавит, изъединствует, прислуживается(!), все покорно гнет перед кем-нибудь или перед кем-нибудь свою совесть и свои помыслы... Книжка гг. Антоновича и Жуковского представляет, очевидно, реакцию. Ложь накопилась столько что, наконец, сознание ее начинает прорываться наружу... Обличение Некрасова важно для тех, кто видел в нем некоторое светило либерализма; но многие, и давно уже, смотрели иначе. Самые стихи Некрасова, в которых так много говорится о народных страданиях, давно уже, несмотря на их несомненные замечательные достоинства, признаны (?) не выражающими полного сочувствия народу, не проникнутыми его действительным пониманием. Это —сатиры, карикатуры, излияния хандры и желчи, и лишь

*) Только в феврале 1903 г. г. Антонович, счел наконец, нужным и возможным покаяться в „Журнале для всех". „Я откровенно сознаюсь,—пишет он,—что мы ошиблись относительно Некрасова. Вопреки нашим ожиданиям, он снова пошел твердым и бодрым шагом по своему прежнему пути... Он не изменил себе и своему делу, но продолжал вести его гораздо энергичнее и успешнее—за что ему честь и слава и вечная память в летописях русской литературы."—„Общим итогом и характером своей позднейшей деятельности Некрасов вполне искупил свои недостатки. Его огромные заслуги во много крат превышают и покрывают его второстепенные отречения: всею своею деятельностью он заслужил полное прощение." Признания довольно-таки запоздалые, но... лучше поздно, чем никогда. Отметим, кстати, странное непонимание г. Антоновичем и (тот же отзыв) позднейшими критиками заслуг Некрасова: «Струны лиры Некрасова раздавались и раздаются только тогда, когда в них ударяет рука или гражданственности и с этой точки зрения или даже не с общеэстетической, а с узко эстетической, исключительно художественной точки зрения и которые не обладают, не только вообще литературным талантом, но и вообще риторическим и стихотворным искусством, что и вполне понятно, так как последнее может состоять только в таланте. Некрасов не лирик (!), следовательно, он не поэт". Называется и этим, г. Антонович главным признаком лирики считает воспевание красоты, нежных сфер и заоблачных высот: сюжеты ее должны, по его мнению, непременно быть светлы и жизнерадостны... Удивительное понимание лирики!

изредка правдивые и неискаженные картины» (в качестве примера того, «как мало сходятся Некрасов с народом в своих сочувствиях и воззрениях». Страхов указывал на пожелание поэта, чтобы русский народ понес с базара Белинского и Гоголя!).

В том же 69 г. выступил с своими „разоблачениями" Тургенев, опубликовавший в „Вести. Евр." известные письма Белинского... А вслед затем тот же Тургенев, раздраженный недостаточно почтительным, по его мнению, отзывом „Отеч. Зап." о поэзии Полонского, выступил в „С.-Петерб. Ведомост." с открытым письмом, в котором говорилось: „Я убежден, что любители русской словесности будут перечитывать лучшие стихи Полонского, когда самое имя Некрасова покроется забвением. Почему же это? А просто потому, что в деле поэзии живуча только одна поэзия, и что в белыми нитками сшитых, всякими пряностями приправленных, мучительно высиженных измышлениях „скорбной" музы г. Некрасова ее-то, поэзии-то, и нет на грош".

И такие отзывы, к стыду русской литературы, нигде не вызвали в свое время резкого негодующего отпора,—опять-таки, быть может, потому, что все наиболее свежие литературные силы группировались вокруг «От. Зап.», во главе которых стоял сам Некрасов. Даже в средине 70-х годов не в редкость было встретить на страницах журналов нелепое мнение, будто Некрасов приобрел себе значение в родной литературе «только оригинальными, новыми мотивами, а отнюдь не силой и глубиной содержания»; и ни даже—будто «поэзия Некрасова вырабатывалась в либеральных редакциях, служила постоянно как бы иллюстрацией направлений, попеременно господствовавших в известной части журналистики». О поэме „Кому на Руси жить хорошо" один критик писал (и тоже нигде не встретил отпора): „поэма эта принадлежит к таким, о которых гораздо приятнее было бы хранить молчание."

Между тем, бурная жизненная карьера нашего поэта приближалась к окончанию. Мы говорим—бурная, но должны с прискорбием констатировать факт, что о второй половине жизни и деятельности Некрасова биографы его знают, в сущности, не многим больше, чем и о первой (о годах ранней молодости). Они знают, главным образом, историю журналов, которые издавал Некрасов, общественную сторону его жизни и деятельности в зрелую пору, но отнюдь не личную и, тем более, интимную жизнь. Единственным ключем к последней является его собственные лирические признания, слишком мало удовле-

творяющие наше любопытство. Они дают, впрочем, достаточно оснований утверждать, что, и достигнув в конце жизни условий материальной обеспеченности, Некрасов не сопричислялся к сонму тех „счастливцев", которых с таким упорством отыскивал на Руси его знаменитые „странники". Известно, напр., что семью он до конца дней ней не обзавелся, и только на смертном одре сочетался законными узами с той женщиной, которую считал своей женою; с каких однако пор и какие именно отношения были у него с этой женщиной, каков был ее нравственный облик, и даже как ее звали (в предсмертных стихах он воспевал ее под именем Зины)— все это вопросы, на которые у нас пока нет ответа...

Улыбнулась ему слава знаменитого писателя, но и к славе, как мы видели, было подмешано много горькой отравы; колючие терновые иглы, вплетенные в лавры блестящего венка, слишком больно давали о себе знать,—и, быть может, только перед самой смертью, в горячих изъявлениях любви со стороны молодежи, Некрасов узнал, наконец, подлинную беспримесную сладость широкой популярности.

Не дала ему судьба и крепких физических сил, рано надломленных лишениями и борьбой всякого рода. Еще в середине 50-х годов у него открылась какая-то серьезная гортанная болезнь, вызвавшая опасения чахотки; сам Некрасов уже считал себя приговоренным к смерти... Но поездка в Италию и в Африку остановила болезненный процесс (хотя голос после того навсегда остался глухим и хриплым). С начала 70-х годов появились тяжелые желудочные страдания (рак), которые в конце концов и свели поэта в безвременную могилу. Ни новая поездка на юг (в Крым), ни операция, сделанная знаменитым Бильротом, ничто уже не могло принести спасения,—и на 56 году жизни, в полном расцвете таланта, 27 декабря 1877 г. Николай Алексеевич Некрасов скончался. Похороны его были чуть ли не первым на Руси грозным и торжественным проявлением общественных симпатий к любимому писателю,—проб ого, несмотря на суровый морозный день, провожала туда не виданная в таких случаях в Петербурге толпа народа в 4—5 тысяч человек.

Слухи о тяжкой болезни поэта и последовавшая затем смерть его вызвали настоящий взрыв непритворной скорби в обществе и особенно в молодежи,—точно же сговорились и все враждебные голоса в печати; со страниц газет и журналов в течение целого года не сходили сочувственные некрологические статьи, и разборы стихотворений Некрасова; вышли и отдельные сборники, по-

священные памяти поэта... Но уже в 78 г., на столбцах либерально-буржуазного „Голоса" возобновлено было в самой резкой форме нападение: появились в пяти огромных фельетонах, нашумевшие в свое время „Критические беседы" Евгения Маркова... Эти широковещательные беседы, якобы беспристрастно отмечавшие недостатки и достоинства некрасовской поэзии, а в сущности, стремившиеся доказать ее ничтожество, эфемерность, имели большой успех в тех кругах общества и литературы, которые и до того с плохо скрываемой неприязнью относились к необычайной популярности Некрасова. Марков задал тон и собрал материал, можно сказать, для последующей отрицательной критики, и статьи его „Бесед" явственно слышались даже двадцать лет спустя, в двадцатилетнюю годовщину смерти поэта. Мы думаем, не мешает поэтому (особенно в виду того, что „Голос" представляет теперь библиографическую редкость) изложить с некоторой подробностью критику Евгения Маркова.

Некрасов,—утверждает критик „Голоса",—поэт предшествовавшей освобождению крестьян эпохи. Проникнутый сознанием коренного общественного зла, он видит роковую безобразность даже в сферах жизни, повидимому, не имеющих связи с крепостным бытом. У читателя получается впечатление какого-то предвзятого намерения не останавливаться ни на каких других явлениях мира, кроме излюбленных (?) автором. Преувеличение, неестественность, надутость, сентиментальность и риторика—роковые и следствия такой односторонности... Этим поэт вызывает и нечувствие читателя к той самой среде, которая выставляется жертвою безобразия... Защищая русский народ против Некрасова, Марков в качестве примера приводит стихотворение „Родину", где, будто бы, чудовищно ложно утверждение, будто русские крепостные „завидовали житью последних барских псов"... „Кто, например, узнает,—патетически восклицает критик,—ту охоту, которая обыкновенно напоминала рад стью удали не только охотника-барина, но и псарей, и доезжачих, и собак (какова собачья идиллия! Н. Я.), в неприглядной и мрачной картине „Псовой охоты" Некрасова? „Лира" Некрасова—вообще патологическая лира: песни „О погоде", например, не столько поэзия, сколько „коркотня досужего капризника"... Изображения народного быта, народной души и даже народной речи в его стихах полны фальши, неискренности и тенденциозности". Многочисленные примеры приводимые Евгением Марковым, мы опустим; упомянем лишь об одном, которым критики Некрасова пользуются

охотно и доныне. В стихотворении „Тишина", говоря об окончании Крымской войны, поэт прибегает к такому образу: „*Прибитая к земле слезами рекрутских жен и матерей*, пыль не стоит уже столбами над бедной родиной моей". Г. Андреевский следуя примеру Маркова, подсмеивался: „Этот невообразимый дождь, освеживший дорогу, совершенно нестерпим" („Лит. Чтения" 1891 г.). Между тем, прекрасная и сильная, на наш взгляд, метафора Некрасова становится вполне понятной если взять в связи с следующими стихами из той же „Тишины":

. . . . Над Русью безмятежной
Восстал немолчный скрип тележный,
Печальный, как народный стон;
Русь поднялась *со всех сторон*,
Все, что имела, отдавала
И на защиту высылала
Со всех проселочных путей
Своих покорных сыновей...

Как известно, из этих „покорных сыновей" лишь „немногие вернулись с поля", и поэт имел полное основание сравнить с потоками дождя слезы, пролитые рекрутскими женами и матерями... Казалось бы, над чем тут зубоскалить?..

Некрасову не по плечу,—продолжает Марков,—только сказочное геройство, баснословный идиотизм, голубиное смирение, кровожадность тигра. Он не постигает средних типов [1]). Искренним мыслителем-поэтом и беспристрастным наблюдателем-художником он бывает только один час из десяти натянутого и выдуманного сочинительства. Вина всего этого—жизнь в кружках, которые действовали не путем политического и художественного воспитания общества, а—логического убеждения научного знания, практических интересов... Под влиянием кружков, Некрасов поднял знамя тенденциозной поэзии, но, как все выдуманное, напыщенное, как всякий уклад, она осуждена остаться без потомства: „лишенная одушевляющего огня и искрен-

[1]) Некрасов изображается здесь, как эпик-неудачник. Но вся поэзия его, глубоко реальная и правдивая, служит наилучшим опровержением такого мнения. В поэзии Некрасова нет ровно ничего эпического, которой до сих пор нам не приходилось касаться. Это—любовная лирика. У него, в этом отношении, нет равных Пушкина и Лермонтова, любовь изображается всегда в определенные семейные моменты, являясь как бы орнаментом и принадлежностью. Некрасов поэтому любовь с неба на землю, в обыденную, будничных, реальных человеческих отношений; он рисует чувства людей именно среднего, а не героического типа.

ности, как может она холодными процедурами своего творчества зажечь божественную искру в новом организме?...“

Некрасов, по мнению Маркова, до того тенденциозен, до того сжився с необходимостью громит крепостное право, что чуть ли не готов отрицать самый факт освобождения (затрепанная мысль, которую охотно повторяли потом гг. Андреевские, Платоны Красновы и им подобные). Некрасов был поэтом исключительно отрицания, отрицание же есть только преходящий момент. В творческом духе поэта были скудны элементы любви!.. „Побольше любви!“—в заключение укоризненно наставляет Марков Некрасова, а кстати и „родственного ему“ Щедрина, умевшего только „отрицать“ и совсем не умевшего любить..

Тому, кто знает Некрасова и Щедрина, конечно, нечего раз'яснять, как много самодовольной узости и притворной фальши скрывалось в этих „либеральных“ назиданиях!

За последние двадцать лет в критике появилось мало нового и интересного о некрасовской поэзии. Следует отметить разве упомянутую статью г. Андреевского, в которой быть может, много злого остроумия и красивых софизмов, но конечный вывод которой таков: „Вклад Некрасова в вечную сокровищницу поэзии гораздо меньше его славы, его имени“.

С средины 80-х годов, когда в литературе повеяло заметным охлаждением к мужику, к народу, и имя Некрасова все реже и реже стало мелькать на страницах журналов. Выплыли на сцену вопросы личного совершенствования, личной морали, шумно прокатилась мишурная волна „эстетического идеализма“ и доморощенного декадентства... Увлечение марксизмом обещало, казалось, значительное отрезвление.—возврат искусства к реализму, к социальным интересам, хотя и с перенесением центра внимания с мужика на городского пролетария; но тут случилось нечто странное и неожиданное: марксизм в собственном, беспримесном его виде почти нисколько не отразился в нашей художественной литературе и в художественной критике... Заявляли о себе и шумели одни только марксисты „не настоящие“, марксисты-индивидуалисты марксисты-ницшеанцы, марксисты-символисты... Эти господа, понятно, не могли любить Некрасова с его простой, бесхитростной поэзией, чуждой всяких современных кривляний и вычур!

К счастью, движение вперед, в сторону все большей демократизации литературы и искусства, продолжается безостановочно и непрерывно, и видимые зигзаги и отступления в нашем общественном развитии не имеют в последнем счете особенного зна-

чения. Литература у нас не впервые отстает от жизни, и судить о вкусах и настроении наиболее бодрых и жизненных кругов общества по мнениям гг. Андреевских, Мережковских, Бердяевых et tutti quanti,—было бы совершенно неосновательно. Некрасов ни в каком случае не может быть назван забытым и отжившим свое время поэтом. Стихотворения его, довольно дорогие по цене, раскупаются с прежней, если не большей быстротою. Но если бы даже на „верхах" нашей многовсяких видов недавней интеллигенции, и действительно, можно было подметить некоторое охлаждение к музе мести и печали, то жизнь с каждым днем все значительнее выдвигает вперед нового, свежего читателя, могучего как своею численностью, так и всепобеждающей верой в торжество света и правды. Не сегодня-завтра этот новый читатель заполнит всю жизненную сцену, и никакого сомнения не может быть в том, что для Некрасова он явится „читателем-другом".

Как ночные призраки, разлетятся тогда и растают туманом все современные „символизмы", поиски „новой красоты" и „новых настроений". Жажда правды—вот настроение, которое одно имеет под собой твердую почву. Светлое и широкое будущее предстоит, поэтому, „музе мести и печали", не устававшей твердить:

Пускай нам говорит изменчивая мода,
Что тема старая—страдания народа,
И что поэзия забыть ее должна,—
Не верьте, юноши: не стареет она!

IX.

Об изданиях Некрасова.

Не знаем, в каком числе экземпляров выпускались каждый раз стихотворения Некрасова при жизни поэта, но за двадцать лет времени (1856—1877) они выдержали шесть последовательных тиражей. Первое посмертное издание, вышедшее в свет в феврале 1879 г. в 6000 экз., разошлось в два года, а в 1881—1882 г. выпущены были, одно за другим, два дешевых компактных издания, каждое по 10 тыс. экземпляров. То и другое распродано было с изумительной быстротой... Цена следовавших затем изданий была, к сожалению, поднята с 3 до 5 рублей; но и они все долго не залеживались, несмотря на то, что печатались в 10—15 т. экз. каждое. В 1902 году вышло уже

восьмое посмертное издание, отпечатанное в 20 т. экземпляров. Таким образом, в общем, за четверть века, протекшую со дня смерти Некрасова, было выпущено около *ста тысяч* экземпляров книги, и если принять в расчет, с одной стороны, ее сравнительно высокую цену в 2½ раза превышающую цену, напр., стихотворений Надсона, с другой—приблизительно-продолжительный и лишь в самое недавнее время, по счастью, окончившийся отлив внимания в русском обществе к доле народной массы, то цифра эта представится довольно-таки внушительной„.

Очевидно, широкие круги читающей публики не перестают питать горячий интерес к поэту, над гробом которого раздавались восторженные молодые голоса: „Он выше, выше Пушкина и Лермонтова!“

„Года минули страсти улеглись“. Для Некрасова настал уже суд потомства. Никто, вероятно, не скажет теперь, что он „выше“ Пушкина и Лермонтова, но за то думаем, никто, кроме ошалелых декадентов, не разделит и мнения знаменитого художника, „друга юности“, а потом „врага“ поэта, несправедливо утверждавшего, будто „поэзия даже и не ночевала в его стихах“; никто не решится теперь назвать эту поэзию гнева и печали явлением эфемерным, фальшивым и лутым (мнение, которое не раз, в пылу партизанских увлечений, высказывалось современными Некрасову критиками). Лишь немногие в настоящее время не согласятся, что из всего легиона русских поэтов XIX века один только Некрасов по праву может стать рядом с Пушкиным и Лермонтовым, как в смысле общественного значения своей лирики, так и энергии и силы поэтического вдохновения.

К сожалению, те, кто являются посредником между обществом и писателем, издатели сочинений Некрасова, заботились все время лишь о собственном преуспеянии и ровно ничего не сделали, с своей стороны, для того, чтобы связь между публикой и ее любимым поэтом росла и крепла. Конечно, слова эти не относятся к давно покойной сестре поэта, Анне Алексеевне Буковец, под наблюдением которой вышло первое посмертное издание стихотворений (в 1879 г.),—издание, во всех отношениях замечательное, сделанное любящей и умелой рукой. Главное достоинство его составляли обширные и в высшей степени ценные примечания О. И. Пономарева, в основу которых положены были собственноручные заметки поэта, сделанные им на полях авторского экземпляра предыдущего издания стихотворений. Г. Пономарев руководился следующим справедливым соображением: „О сти-

хах такого жизненного содержания, как некрасовские, весьма интересно было бы знать многое—и поводы, по которым написаны пьесы, и лица, которых очерчивает поэт, и то впечатление, которое возбуждали его произведения в нашем обществе, в нашей журналистике в минуту своего появления и пр. Не вполне удовлетворить этим требованиям *пока* невозможно" В настоящее время невозможность эта, по всей вероятности, значительно уменьшилась, а между тем—позднейшие издатели Некрасова не только не расширили примечаний С. Н. Пономарева, но даже и совсем их устранили... Вначале это было под предлогом экономии места в дешевом однотомном издании, но потом, с возвратом к изданию дорогому (двухтомному) и переходом его в собственность г. Суворина, „примечания" были просто забыты .. И не вспоминают о них вот уже двадцать лет! К чему? Ведь книжка и без того хорошо расходится...

С той же целью удешевления, биография Некрасова, составленная г. Скабичевским, была сокращена в 1881 году до одной трети, т. е. до бледного краткого перечня всем известных фактов, и в таком виде, без малейшего изменения, она преподносится читателю и до наших дней...

„При всем старании сделать новое издание как можно более достойным памяти покойного поэта,—писала сестра его в предисловии к изданию 1879 г.,—я не считаю себя вполне достигшей предложенной цели: *иное было невозможно по недостатку времени, многое оказывалось пока несвоевременным*".

Ни тем, ни другим мотивом нынешние издатели не могли бы отговориться, а между тем—за столько лет владения духовным наследством знаменитого поэта—они не только не „старались" сделать новые издания „более достойными его памяти", но сделали их, по сравнению с изданием 1879 г., положительно менее достойными. В деле изучения текста стихотворений Некрасова, восстановления стихов, замененных точками или искаженных в угоду „независящим обстоятельствам", а также розыскания новых, не напечатаных при жизни поэта пьес,—не говорим уже о корреспонденции Некрасова,—ими ровно ничего не сделано, несмотря на прямое и категорическое утверждение А. А. Буткевич (а она ли уж не знала истинного положения вещей!), что „многое" оставалось еще сделать... Досадно подумать, что упущено двадцать пять лучших лет: сколько рукописей, стихотворений, вариантов, писем могло бесследно затеряться за этот промежуток времени!

Но издатели могут, пожалуй, указать в свое оправдание на

первую же страницу 1-го посмертного издания, где поэт ясным русским языком просит своих наследников *ничего*, кроме указанного *им* самим, не перепечатывать после его смерти.

Справедливо; нужна только маленькая поправка. „Завещание“ это написано Некрасовым еще в 1864 году и естественно, должно относится лишь к стихам, сочиненным *до* этого года главным же образом к сборнику „Мечты и Звуки“ и другим, большею частью неудачным, стихотворным опытам 1838—1844 г. Если распространить смысл некрасовского распоряжения и на весь последующий период (1864—1877), то придется, напр., назвать самоуправством поступок Салтыкова, через три года после смерти поэта напечатавшего в „Отеч. Зап.“ его поэму „Пир на весь мир“, которую при жизни автора цензура не соглашалась пропустить. Повидимому, так именно и рассуждают нынешние собственники издания: если они и перепечатывают эту поэму в „Собраниях стихотворений“, то потому только, что их предупредила сестра поэта, успевшая, незадолго до смерти, распорядится внесением «Пира на весь мир» в первое дешевое издание... За то все новые стихотворения Некрасова, опубликованные позже, современными издателями упорно игнорируются*).

Нельзя, в заключение, не посетовать на дороговизну книги, которую, право не грешно бы уменьшить, по крайней мере, в полтора раза... При пятирублевой цене надолго еще сохранят свою силу горькие слова поэта:

Тот, о ком пою в вечерней тишине,
Кому посвящены мечтания поэта,—
Увы! не внемлет он и не дает ответа...

КОНЕЦ.

*) „Время-то есть, да писать нет возможности“, „Вам, мой дар ценившим и любившим“ (автограф, подаренный студентам). „Смолкли честные, доблестно павшие“, „Вчерашний день часу в шестом“ и пр. Поэму „Пир на весь мир“ следовало бы печатать по полному тексту, изданному в 1879 году „Народной волей“, с песнями „Средь мира дольного“, „Кушай тюрю Ява“, „Беден, нечесан Калинушка“ и пр. Напомним еще, что, по указанию покойного Гербеля (см. посмертное издание 1879 г., т. IV, стр. CXLVI), Некрасов собирался перед самой смертью взять для нового собрания своих стихотворений пять юмористических пьес из „Свистка“, до сих пор остающихся там погребенными. Не следовало бы, думается, пропускать и двух предсмертных стихотворений, имеющихся в „Примечаниях“ С. И. Пономарева, а теперь вовсе забытых: „Пускай чуть слышен голос твой“ и песни из вновь задуманной главы „Кому на Руси жить хорошо“.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

стр.

I. Неудачный литературный дебют 3

II. Грустное детство. Мать и отец.—Удаление из гимназии 13

III. Тяжелая рабочая юность. Не умирающий идеал.—Смерть матери 22

IV. Гуманная школа Белинского.—Неблагодарное влияние режима „железных рукавиц“ Герой дня 34

V. Поэт находит свое призвание 50

VI. Основные черты некрасовского лиризма.—Мелкие недостатки и великие достоинства 57

VII. Некрасов, как певец трудящихся и обездоленных 75

VIII. Критики и читатели.—Болезнь и смерть.—Прочность славы Некрасова 83

IX. Об изданиях Некрасова 91

PG 3337 N4Z653

IAkubovich, Petr Filippovich
N.A. Nekrasov

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

UTL AT DOWNSVIEW
D RANGE BAY SHLF POS ITEM C
39 16 02 02 07 005 5